



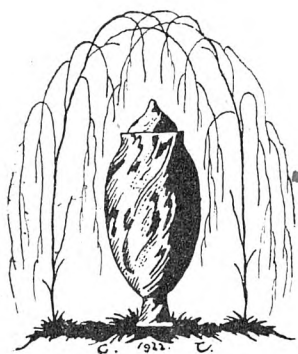
Дмитрий Николаевич
ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ

1853 — 1920

Д. М.

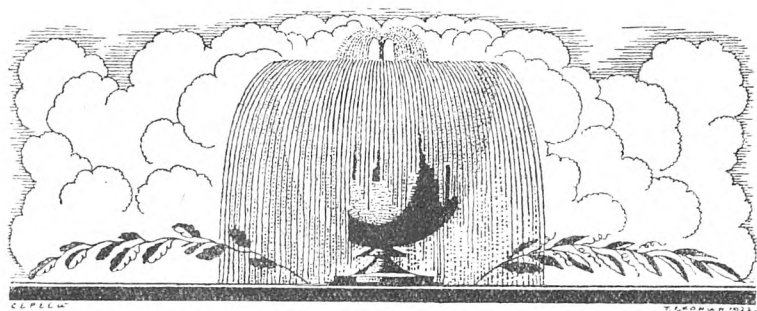
Овсянико-Куликовский

ВОСПОМИНАНИЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ВРЕМЯ"
ПЕТЕРБУРГ

1923



Выпуская в свет посмертные мемуары моего покойного мужа, хочу сказать несколько слов о том, когда, где и при каких условиях они писались.

Когда в 1918 году прекратился редактируемый им журнал „Вестник Европы“ и прекратились лекции в высших учебных заведениях, Дмитрий Николаевич остался не у дел. Задержавшись на юге, куда он поехал на лето, и не имея возможности вернуться к своему любимому делу, он задумал писать воспоминания о выдающихся людях, с которыми судьба сталкивала его и с которыми он был близок, — о Ковалевском, Лаврове, Драгоманове, Потёбне, Зибере, Туган-Барановском. — Переехав из Харькова летом 1919 года в Одессу, он поселился на своей приморской даче и продолжал мемуары.

На склоне жизни, когда в будущем — болезнь и смерть, а настоящее тоскливо, хорошо уйти в прошлое и пере-

нестись в дни радостного детства и светлой неомраченной юности. Такое отвлечение от действительности давало ему большое удовлетворение.

Внезапная, тяжелая болезнь прервала его работу.

Он был неисправимым оптимистом, страстно любил жизнь. „Хотел бы жить вечно“, часто говаривал он.

Но смерть неумолима...

9 Октября 1920 года его не стало.

И. Овсяннико-Куликовская

25 Мая 1922

I

ЛИЧНОЕ

(Опыт психоанализа)

В этих „Воспоминаниях“ я веду речь преимущественно о себе самом. Но не автобиографию предлагаю я вниманию читателя. Моя задача другая: дать психологический анализ своего внутреннего мира в его развитии. Из материала своих разновременных переживаний я выбираю лишь те, которые могли бы, как мне кажется, представить некоторый общий интерес. Все слишком интимное и частное я исключаю.

Я хотел бы вскрыть психологическую, в особенности подсознательную сторону тех итогов внутреннего опыта, которые принято называть „миросозерцанием“. Я предпочел бы термины „мироощущение“ и „социальное самочувствие“. В их состав входят и те переживания, из которых образовались мои научные и литературные стремления, и откуда также вышли элементы моего политического образа мыслей.

Если такой опыт „психоанализа“, произведенного над самим собой, окажется более или менее удачным, то в итоге получится некоторый „человеческий документ“, не лишенный смысла и значения, независимо от того, какой интерес могут представить мои переживания, настроения, идеи и т. д. сами по себе, по своему содержанию.

1

ИНТЕРЕС К АНОРМАЛЬНОМУ

Одною из стойких черт моего внутреннего мира за последние лет двадцать является потребность уяснить себе

природу и смысл *анормальных* явлений в человеческой жизни, индивидуальной и коллективной, обыденной и исторической. Моя жизнь неудержимо тянется ко всему болезненному, психопатическому, безумному и преступному, и в сложном чувстве, вызываемом во мне этим порядком явлений, я различаю, с одной стороны *любопытство*, с другой — *отвращение*. Эти составные части представляются, в свою очередь, довольно сложными. Любопытство оказывается не только умственным, в частности научным, но и моральным; отвращение по преимуществу морально, но в нем есть и нечто от ума; и оба, в своем сочетании, отражаются в моем сознании, прежде всего, как чувство „психологическое“, нерасчлененное, цельное и безотчетное, напоминающее те инстинктивные антипатии, которые животные одного вида питают к животным другого, или люди известного типа к представителям другого. Тщетно в этом сложном чувстве ищу я элементов жалости и сострадания, запас которых у меня достаточен, и которые, во всем остальном, являются нередко действенным и предрешающим моментом в моих психических отношениях к людям и даже животным. Повидимому, в глубине подсознательного у меня есть какой-то тормаз, задерживающий чувство жалости „по человечеству“ и не подвластный голосу разума и альтруизма, внушающему мне, что душевнобольных, сумасшедших, нравственно-помешанных и врожденных преступников надлежит, прежде всего, жалеть как несчастных и в своем несчастье неповинных. Это моральное правило я знаю, но в моей душе нет ему отклика.

Различные натуры различно реагируют на впечатления, исходящие от мира безумия и преступности. Я принадлежу к числу тех, для которых величайшими бедствиями являются два: сойти с ума и убить человека. В особенности — второе. Если бы пришлось выбирать, я предпочел бы первое. Но в моем интимном самочувствии они так тесно связаны, что *моральный* ужас убийства распространяется на сумасшествие. И изо всех родов последнего самым ужасным представляется мне так называемое „нравственное помешательство“ (*moral insanity*), вызывающее во мне непреодолимое отвращение, невыносимую психическую тошноту. Оттуда это чувство в различных дозах распространяется с одной стороны на всякое безумие, с другой — на всякую преступность. Даже легкие формы психопатии и

разные, более или менее „невинные“ аберрации мысли и чувства, а равно и психоневрозы, как истерия и эпилепсия, вызывают во мне некоторую психическую тошноту, сродни моральной. Все это и служит тем психическим ядом, которым вытравливается во мне чувство жалости и сострадания. И потому, при всем моем глубоко, почти страстном интересе к психопатологии, из меня не мог бы выйти врач-психиатр, стоящий на высоте своего гуманного призвания.

Откуда у меня этот яд психической и моральной тошноты? На этот вопрос я не нахожу другого ответа, кроме следующего. Внутреннее чувство подсказывает мне иллюзорную мысль, будто у меня нет никаких психопатических задатков, и мир душевных болезней и безумия, как и сфера преступности, представляется мне чем-то глубоко чуждым мне, „потусторонним“; грань, отделяющая „мой мир“ от мира аномального, кажется мне незыблемой. Теоретически я знаю, что она очень условна и шатка, что во всем нормальном заключены возможности аномального, и нет человека, могущего похвалиться полнотою здоровья, как физического, так и душевного. И мой ум *теоретически* способен проникать в область аномального, изучать и понимать странные явления, там скрывающиеся. Но *практически*, т. е. чувством и моралью, я не в силах преодолеть субъективное чувство своей отчужденности от этой „потусторонней“ сферы и могу реагировать на нее только отрицательно — антипатией, отвращением, безжалостностью.

Задатки или возможности аномальных явлений у меня, как и у всех, конечно, есть. *Но я не ощущаю их аномальности*,—и в этом вся суть дела.

При желании я мог бы отметить у себя некоторый уклон от нормы, например, *вялость психической реакции* и признаки *меланхолии* в характере или темпераменте. Но моя вялость никогда не доходила до апатии, а меланхолия не мешала мне оставаться натурой глубоко жизнерадостной. К тому же в моей душевной организации нет ничего *ипохондрического*,—и чтение медицинских книг не внушало мне никаких пугливых мыслей о моем физическом и душевном здоровье.

Чувство полноты душевного здоровья (конечно, не вполне соответствующее действительности) образует психическую базу моей душевной жизни. Из него-то, с психологическою

необходимостью, и вытекают вышеописанные отношения мои к миру психопатическому.

2

ИНТЕРЕС К ПРЕСТУПНОМУ

Отвращение, нравственный ужас, отсутствие жалости, обостренное умственное и моральное любопытство,—таковы важнейшие черты моих отношений к преступному миру. Когда я впервые познакомился с учением Ломброзо, оно чрезвычайно понравилось мне, — я был как бы подготовлен к его восприятию. И сейчас я остаюсь приверженцем итальянской школы криминалистов (не разделяя, однако, ее крайностей и увлечений). Существование патологического преступного типа (по крайней мере психического), атавистически воспроизводящего психику и „мораль“ дикаря, для меня вне сомнения, — и уже давно привык я видеть в нем социально-психологический факт первостепенной важности. Этот тип, вместе с родственными ему явлениями умственного и морального вырождения и слабоумия, является в моем представлении чем-то зловеще-фатальным, тяжкою человеческою болезнью, передаваемою из века в век и грозящею в конце извратить все лучшие начинания и достижения культуры. Оттуда у меня повышенный интерес к вопросу о борьбе с преступностью, об уголовной репрессии, о наказаниях.

Размышляя обо всем этом, я пришел к выводу, гласящему так: не только позволительно, но и необходимо переносить понятие *преступности* от человека на его деяния; когда то или иное действие определяется как преступное, то это не только способ выражения, но и точная оценка факта, согласная с его сущностью. *Не столько люди, сколько сами факты преступны.* Убийство человека всегда преступно, между тем как убийца может и не быть преступником, именно во всех случаях, когда убийство совершено нечаянно, при самозащите, на дуэли, на войне, из благородных побуждений. В итоге таких рассуждений получился утешительный вывод, что в человечестве всегда было гораздо меньше преступных людей, чем преступных фактов; но тут же обнаружился и другой, крайне неутешительный вывод, что вся история человечества переполнена

преступными фактами, раз мы согласились войну, дуэль, и все прочие виды узаконенного убийства считать преступлениями. Всемирная история превращается в чудовищную уголовную хронику...

Но тут возникает другой вопрос: не противоречит ли требованиям рационального (научного) мышления это перенесение понятия преступности от человека на деяние? не будет ли это рецидивом мифологического мышления?

На этот вопрос (с моей точки зрения весьма существенный) я отвечаю отрицательно: мифологических приемов мысли здесь нет, ибо деяние, или факт, не представляется в виде существа (субстанциально), и ему не приписываются признаки жизни, воли, души (анимистически). Здесь совсем иной процесс мысли, ничего общего с мифологическим олицетворением не имеющий: это просто результат *классификации деяний, или фактов, с точки зрения высшей человеческой морали*. Преступны все действия, осуждаемые и отвергаемые этой моралью, при чем все равно, относятся ли они, по духу и букве действующего права, к категории „уголовных“ или не относятся.

Некоторая тень мифологичности все-таки просвечивала бы и при такой постановке вопроса в том случае, если бы оставались в силе старые понятия *наказуемости и наказания, как возмездия*. Преступные деяния подлежат не наказанию, а *устранению и предупреждению*; преступника же следует поставить в такие условия, при которых он лишен был бы возможности, да и охоты, совершать действия, вредные другим людям и обществу и противоречащие требованиям морали и права. Понятия *ответственности, вменяемости, невменяемости* преступника должны быть сохранены, но только *не в целях наказания и возмездия*, а в интересах *справедливости и целесообразности* уголовной репрессии.

Перенося понятие преступности на деяние, на факт, и устраняя идею возмездия, мы eo ipso в принципе отвергаем фикцию „свободы воли“. Нетрудно видеть, что это приводит, во-первых, к расширению до бесконечности пределов морального отношения к фактам и, во-вторых, к упрочению и изоляции силы морального суждения и осуждения. В самом деле, если я ограничиваю свое моральное суждение тою сферой, где допустима наличность „свободной воли“, то тем самым я отказываюсь от мораль-

ной оценки бесчисленного множества случаев, где для „свободной воли“ нет места. В результате выходят чудовищные нравственные абсурды вроде следующего: пришлось бы направить всю силу морального осуждения, например, на человека, который, по собственному свободному произволению и с заранее обдуманном намерением, убил разбойника или тирана, и в то же время отказаться от морального осуждения того прирожденного преступника, нравственного идиота, который, не ведая что творит, изнасиловал ребенка и сжег его в печке. Все мы по опыту знаем, что здоровое моральное отношение к преступлениям этих двух категорий как раз обратно: идиота, лишенного и тени свободной воли, мы нравственно осуждаем со всею силою негодования, убийцу, спасшего общество от разбойника или тирана, морально оправдываем. Итак, голос совести говорит нам, что наличие „свободной воли“ вовсе не служит неизменным условием возможности морального суда и осуждения, и что, наоборот, отсутствие свободы воли является нередко могучим стимулом нравственного негодования. Оно даже достигает порою высшей точки в тех случаях, когда зло производится силой слепой, бездушной и безответственной, силой звериной, силой стихийной. Мы не можем, да и не хотим отказаться от права морального суда над миром животных и царством природы. Человек не навязывает своей, человеческой и человеческой этики животным и природе, но его разум, познающий законы космического, познает, вместе с тем, и зло, имманентно присущее космосу, и нравственная совесть, единосущная разуму, это зло морально осуждает. Человеческая преступность есть только частный случай и отпрыск общего зла, стихийно присущего миру. И нравственное сознание человечества в своем высшем развитии стремится распространить свое право моральной оценки на всю вселенную...

Отдаленные зачатки органического отвращения к убийству я нахожу у себя в раннем детстве. Один, казалось бы, незначительный случай почему-то остался у меня в памяти. Мне было тогда лет 6 или 7. В послеобеденное время, когда жизнь в доме по-обломовски замирала, я любил бродить по комнатам, предаваясь своим детским грезам и мыслям. В зале на столике возле рояля лежали ноты,—на них была виньетка, изображавшая человека свирепого вида в кандалах. Я понял, что это злодей, преступник, убийца,—

и странное смешанное чувство страха и отвращения, жуткого любопытства и наивного детского негодования одновременно и притягивало меня к картинке и отпугивало. Я осторожно подошел к столику, взглянул и убежал в паническом страхе в гостиную. Там на столе лежал забытый столовый нож. Я взял его, стал осматривать, осторожно пощупал лезвие. Оно показалось мне очень острым. С чувством неопределенного и, помнится, унылого страха я спешно положил на место смертоносное орудие и, отойдя, стал шептать самодельную молитву: „Господи, сделай так, чтобы я никогда никого не убил!“.

Позже, когда я стал зачитываться романами, герои байронического пошиба, „благородные разбойники“, великодушные бандиты и т. п., сколько помню, далеко не пленяли моего детского воображения, не становились „моими“ героями, — и я не любил соответственных игр „в разбойники“. Еще позже, в юности, я не склонен был идеализировать ни Пугачева, ни Стеньку Разина. Иван Грозный внушал мне непреодолимое отвращение. А впоследствии, уже в зрелых годах, я стал относиться резко-отрицательно и к таким героям истории, как Петр Великий, Наполеон и т. д., поскольку они являлись „убийцами“, и в особенности в виду того, что у них убийство было не случайностью, а избранным орудием проведения в жизнь их заданий или идеалов. Петр Великий для меня прежде всего морально-преступная натура, а потом уже великий государственный человек, Наполеон — гениальный авантюрист, повинный в неисчислимых смертях и бедствиях . . . И у меня в отношении к ним и им подобным моральное отрицание явно развивается в направлении к уголовному осуждению. Психологически и морально они в моих глазах преступники, но только — особого рода, к которому обычная мерка не приложима. Надо найти другую, которая, пожалуй, окажется еще неумолимее обычной. Повидимому, вопрос сводится к выбору инстанции, перед которой убийца ответствен. Обыкновенный преступник ответствен перед обществом, Петр Великий, Наполеон и т. д. ответственны перед всем человечеством . . .

Не буду распространяться здесь о моих затяжных и упорных размышлениях на темы о *рациональном*, т. е. отвечающем требованиям науки и гуманности отношении к личности преступника, о замене понятия уголовной кары

понятием ограждения общества от преступных покушений, о предупреждении преступлений и т. д. Эти мысли давно занимают и беспокоят меня, переплетаясь с мыслями о борьбе с вырождением, алкоголизмом, порочной наследственностью, неврозами и психозами. Скажу только, что все это, вместе взятое и в связи с итогами моих многолетних занятий историей культуры, образовало компактную систему идей, чувств и настроений, влияющую на мое общее, личное и социальное самочувствие. Это то, что психологи-психиатры называют „психическим комплексом“. У душевно-больных „комплексы“ получают патологическую постановку и приводят к бредовым идеям и нелепым поступкам. У здоровых это—явление нормальное, хотя иногда и проявляющее тенденцию перескакивать за грань благоразумия. Большая или меньшая нормальность „комплекса“ зависит от степени критического отношения к нему самого субъекта, от его чутья действительности и правды вещей. Роковую роль в патологическом развитии „комплексов“ играют страсти (например, честолюбие, сластолюбие, корыстолюбие, ревность и т. п.). Весьма часто встречаются нормальные, как и уклоняющиеся от нормы, комплексы у лиц с призванием к определенной деятельности, склонных преувеличивать значение своей профессии, а также у партийных деятелей, у идеологов и т. д. Уклон от нормы замечается нередко у художников, влюбленных в свое искусство и в себя самих, у натур с повышенной и притязательной религиозностью, у моралистов, склонных к излишнему ригоризму и к догматизму в морали. У *фанатиков* комплекс уже явно патологичен.

Мой „комплекс“, смею думать, держится в пределах нормы. По коренным свойствам природы я не склонен ни к фанатизму идей и чувств, даже умеренному, ни к догматизму мышления, даже закономерному. Критическое отношение к своим понятиям и вообще к своему внутреннему миру мне далеко не чуждо, хотя мой ум и не принадлежит к категории критических по преимуществу, и в нем нет предрасположения к скептицизму.

Из дальнейшего читатель увидит, какими путями втечение долгих лет возникал и развивался этот „комплекс“. Сейчас же я хочу рассказать о другом, давнишнем „комплексе“, который, отличаясь значительной остротой, около трех лет беспредельно господствовал над моей юной ду-

шой. Его общее влияние на мое душевное, в частности моральное развитие я считаю весьма благотворным.

3

ПЕРВЫЙ „КОМПЛЕКС“

Это одно из лучших воспоминаний моей юности.

Мне шел пятнадцатый год и я был в 4-ом классе гимназии (в Симферополе, 1867-68 учебный год). Учеником я был старательным и хотел учиться, но хромал по математике, не имея никаких способностей и никакого вкуса к этому предмету. И я решил взять себя в руки, приналечь прежде всего на алгебру и геометрию, а потом заодно и на все остальные предметы преподавания, чтобы получать пятерки и стать одним из лучших учеников гимназии. Было ли это следствием ученического честолюбия и детского тщеславия, или чем то в роде спорта, или тут действовали другие мотивы? Затрудняюсь ответить на этот вопрос... Но я склонен думать, что психологической почвой, на которой развился „комплекс“, было мое исконное, с детских лет обнаружившееся тяготение к книге как таковой, какой-то инстинктивный „культ“ науки и вместе с тем убеждение, вынесенное из опыта, что никаких, даже элементарных познаний я не способен схватывать налету, и должен старательно *разучивать* уроки, вникая в самую суть дела и стараясь дать себе отчет в смысле и значении каждой мелочи. Я мог *знать* только то, что, в самом деле, хорошо *понял* (разумеется, соответственно психологии возраста).

И я принялся за работу с рвением неопита и добровольного подвижника. Хорошо помню, как захватывал меня самый процесс учения, поскольку в нем выражался элемент самостоятельности, как, далее, все больше входил я во вкус тренировки себя самого, и, наконец, какую радость вызывало во мне сознание, что я управляю собою и исполняю обязанности ученика не по приказу, а по собственному свободному произволению. Я почти перестал читать романы, составлявшие до тех пор мое любимое чтение, и весь погрузился в учебники, отказывая себе и в отдыхе, и в развлечениях. На этом пути я доходил до педантизма. Вскоре мне стало ясно, что мое „призвание“ — филология, и вот, перейдя на круглых пятерках в пятый класс, я решил при-

няться за греческий язык, который тогда не входил в программу классических гимназий. Купил я себе „Греческую грамматику“ Курциуса и живо помню то особое чувство радости, почти счастья, с которым я нес домой эту книгу, как некое сокровище. Несколько позже, наскоро пройдя грамматику, я приобрел греческую хрестоматию Якобса (изданную в Харькове в 40-х годах) и „Анабасис“ со словарчиком. Времени для занятий греческим языком у меня было мало; я пользовался воскресеньями и праздниками, а также отнимал от сна час вечером и час утром. Перед тем как идти в гимназию, за кофеем, я прочитывал страницу греческого текста, выписывал слова в тетрадку и брал ее с собою, чтобы на уроках, тайком, держа ее под партой, заучить слова. Когда, бывало, меня брали в театр, заветная тетрадка была со мною, и я углублялся в нее в антрактах, а иной раз случалось разделять внимание между нею и тем, что происходило на сцене. Очень усердно занимался я и латинским языком, читая тексты, не входившие в гимназическую программу (помнится, я прочел, между прочим, „De senectute“ Цицерона и все пять комедий Теренция). Из греческих текстов за два года (5-ый и 6-ой класс) я прочел Анабасис, всю хрестоматию Якобса, две книги Фукидида, трилогию Софокла, кажется, первую песнь Илиады и — Евангелие.

Разумеется, на каникулах греческому и латинскому языкам уделялось немало времени. Но тут явился весьма опасный для них конкурент. Это был Виссарион Григорьевич Белинский, имя которого, уже тогда сиявшее для меня особым ореолом, было мне памятно по отрывкам в хрестоматии Филонова (это была одна из моих любимых книг в возрасте 11—14 лет, наряду с „Древней Историей“ Шлоссера): Теперь в моем распоряжении были все двенадцать томов Белинского (издание Солдатенкова). Втечение учебного года я не позволял себе отвлекаться от школьных занятий даже для Белинского, но зато каникулами читал и перечитывал его запоем, с величайшим наслаждением, с восторгом. . .

Своеобразный „комплекс“ быстро формировался и крепко упрочивался в моем самочувствии и самосознании. Он слагался из „эпитимии“ занятий учебными предметами, из не лишнего гордости сознания, что я управляю собою и куда-то веду себя, из увлечения греческим языком, из

радостной мысли об историко-филологическом факультете, из туманного культа науки, причудливо переплетавшегося с таковым же культом Белинского и русской литературы вообще. Вскоре в этом агglomerате обозначился еще один элемент: повышенная *религиозность*, внеобрядовая и как бы самочинная. Я горячо молился, сочиняя молитвы и стараясь сосредоточивать внимание на внутреннем созерцании Божества. И, кроме того, усердно читал греческое Евангелие. Помнится, Ксенофонту и Якобсу отводилось раннее утро, когда я еще не успевал как следует проснуться, Евангелию — последний час вечера, когда уже клонило ко сну. Случалось иной раз и задремать над священным текстом. Заучил я наизусть Молитву Господню („Отче наш“) по-гречески и, молясь, декламировал ее с особым выражением и особым чувством — не то радости, не то гордости, что вот, мол, я молюсь по-древнегречески, на языке Евангелия. . .

Так подвизался я два года с лишним. При этом (могу заверить читателя) „подвижник“ не обнаруживал ни фанатизма, ни самомнения, ни высокомерия. Он был хороший товарищ, добрый малый и вращался в своей гимназической среде так, как будто никакого „комплекса“ у него нет. В его поведении и обращении с другими не было ничего напускного, ничего, что делалось бы „напоказ“, с предвзятой мыслью. Видна была только некоторая чужаковатость, застенчивость и как бы отчужденность от жизни с ее юными увлечениями, развлечениями и шалостями.

Особого *морального* задания, рядом с религиозным, в „комплексе“ не было, но, несомненно, весь комплекс в его целом был окрашен и, пожалуй, цементирован нравственной тенденцией. Ибо он подчинялся идее *должного*, сопровождался чувством нравственного удовлетворения и, бесспорно, имел для меня, несмотря на кратковременность, огромное воспитательное значение.

В четвертом классе, в 1867-68 гг., он возник и установился в своих основных чертах, в пятом — достиг апогея, обогатившись мечтами о будущей научной и частью литературной деятельности, в шестом — стойко держался на достигнутом уровне, а в седьмом (1870-71 гг.) вдруг сорвался, уступив место тому, что иронически я назвал бы своим „периодом бури и натиска“ (*Sturm- und Drangperiode*). Этот период продолжался два года (7-ой класс гимназии

и первый курс Университета, 1870-72 гг.), после чего началась новая интеллектуальная и моральная жизнь, с новыми, довольно разнообразными интересами и влечениями, постепенно, многими годами, приведшая к образованию нового комплекса, который вот и сейчас не только существует, но и растет.

4

**ПРОМЕЖУТОК 1870—1872 гг. — ВОЗВРАЩЕНИЕ К РАБОТЕ
в 1873 г.**

Эти два года беспорядочной и сумасбродной жизни я не считаю целиком потерянными.

Нельзя было не отдать дань молодости с кутежами, сердечными увлечениями, весельем, смехом и т. д. Это была необходимая прививка яда жизни. Но, помимо того, это время было наполнено литературными интересами и сладостно-робкими мечтами о будущей писательской деятельности. Вслед за Белинским пришли Добролюбов, Писарев, Михайловский, „Отечественные Записки“, „Вестник Европы“, „Дело“, „Знание“. Перед натиском литературной армии греческий язык не устоял и почти совсем стухал, чтобы вынырнуть позже, уже в союзе с санскритом.

За это же время я превратился из религиозного, наивно-верующего и смиренного юноши в неверующего и „протестующего“ „радикала“. Само собой разумеется, о каких-либо мало-мальски выработанных взглядах и „убеждениях“ смешно было бы говорить (мне было 18—19 лет). Это была лишь соответственная возрасту, душевным предрасположениям и духу времени перемена настроения; это был также психологически закономерный кризис личного и социального самочувствия, — этап умственного развития, реакция просыпающейся души на новые впечатления жизни и мысли. Хорошо помню ту интеллектуальную радость „отрицания“, которую я тогда ощущал и которая так причудливо переплеталась с очарованием „первой любви“ и веселым бездельем в дружной компании товарищей. Помню и наивное чувство душевного удовлетворения, почти гордости по тому случаю, что вот, мол, и я — „радикал“, „нигилист“, некоторым образом приобщился к сонму „передовых людей“, исповедую крайние мнения, „отрицаю“, „протестую“ и — что

особливо заманчиво и жутко-отрадно—рискую, чего доброго, „пострадать за убеждения“. Что касается собственно этих „убеждений“, то никак нельзя было бы определить с точностью, в чем они состояли: шло ли дело о ниспровержении существующего порядка вещей, или собственно о том, чтобы обязательно считать Шубина и Берсенева людьми отсталыми и ненужными, Курнатовского — ничтожеством и чуть ли не реакционером, а Инсарова—настоящим героем, обожать Елену, восхищаться Базаровым, чувствовать себя и всю Россию „накануне“ чего-то и восторженно приветствовать занимающийся „настоящий день“. Слова „реализм“, „нигилизм“, „реалисты“ или, еще лучше, „мыслящие реалисты“ были сами по себе многозначительны и обаятельны. Это были не столько термины с определенным содержанием, за которыми скрывалась бы определенная программа, сколько условные лозунги и символы, открывавшие заманчивую даль будущей деятельности, „плодотворной работы“, борьбы, может быть славы! Мой радикализм или нигилизм был, собственно говоря, литературным,—он почти целиком исчерпывался „вопросами“ о „чистом искусстве“, которое, конечно, отрицалось, о „романтизме“ и „реализме“, о „публицистической критике“ и т. п. Понятие „лучшего будущего“, идеи „народа“, „свободы“ и др. даны были по преимуществу в их литературном, журнальном обличьи и, нет-нет, сбивались на представление о стихах в духе Некрасова и о критических статьях в духе Добролюбова. Стихи я уже пописывал (как случалось грешить и раньше, в детские годы) и даже посылал в журналы, но, разумеется, напечатаны они не были, что, конечно, меня огорчало, но я скоро забывал „обиду“ и продолжал зачитываться статьями отвергавших мою „музу“ журналов. Да и плоха была эта „муза“.

Из поэтов властителем моих дум был, конечно, Некрасов. Из критиков — Добролюбов. Писаревым я увлекался недолго, месяца три, потом как-то вдруг охладел к нему. Его вытеснил из моего сердца, после Добролюбова, Михайловский, первые статьи которого глубоко захватили меня, и с тех пор и до сего дня, несмотря на мое разногласие с ним по разным пунктам, я остался горячим его почитателем и приверженцем.

Здесь будет у места вспомнить моих гимназических наставников. Состав преподавателей в Симферопольской гим-

нази в те годы был в общем порядочный. Большею частью это были люди знающие и хорошие, и я вспоминаю о них с чувством глубокой признательности. Но из них мне особенно памятли двое, появившиеся в Симферополе в тот год, когда я перешел в седьмой класс. Это были Флорентий Александрович Шатов и Венъямин Васильевич Авдиев. Оба были люди с отличной подготовкой и широким образованием. Свободомыслящие, просвещенные, гуманные, они внесли, как говорится, свежую струю и оживили запущенное преподавание словесности. Случилось так, что Авдиев в тот год в седьмом классе не преподавал, и я стал учеником не его, а Ф. А. Шатова, уроки которого походили, по содержательности и тщательной отделке изложения, на университетские лекции. Он был глубоким почитателем Пушкина и немало содействовал моему скорому разочарованию в Писареве, которого он отрицал, называя „детским писателем“. По своим литературным воззрениям и вкусам он примыкал отчасти к Добролюбову, но исходил от Белинского.

Однажды он предложил мне написать, в виде „пробы пера“, разбор „Степного короля Лира“, который тогда только что появился в одной из книг „Вестника Европы“. К сожалению, я тогда находился еще в пущем разгаре увлечения Писаревым, и потому, неумело подражая манере последнего, „разнес“ Тургенева и „доказывал“, что „Степной король Лир“—произведение, лишенное общественного значения и даже „не реальное“, а следовательно во всех отношениях ничтожное. Это „упражнение в стиле“ было прочитано мною на гимназическом литературном вечере в виде реферата. Шатов, терпеливо выслушав мое чтение, взял слово и спокойно и убедительно доказал всю несправедливость моей оценки и неосновательность моих рассуждений. Сколько помнится, я тогда все-таки остался при своем мнении, но „писаревская“ точка зрения, по крайней мере в таком вульгарном виде, как вышло у меня, была заметно подорвана. Вскоре после того я от Писарева перешел к Добролюбову, которого раньше не читал.

Этот переход от Писарева к Добролюбову связывается в моей памяти со следующим эпизодом. В. В. Авдиев охотно сближался с учениками старших классов, приглашал к себе, интересовался их умственным развитием, беседовал с ними на литературные темы. Пригласил он и меня, предложив

дать кое-какие книги. В первый же мой визит к нему речь зашла, между прочим, о Писареве, и я, конечно, выказал свое восторженное отношение к нему. Авдиев не возражал, но отрывисто и многозначительно спросил:

— А Добролюбова читали?

— Нет еще, но хотел бы...

— Вот, возьмите. Ну, а Шевченка читали?

— Кое-что в хрестоматии Филонова.

— А ну-ка, прочитайте вот, например, эти стихи.

Попалось известное мне „Думи мои, думи мои...“. Я стал читать, произнося на обще-русский манер. Авдиев быстро захлопнул книгу и сказал:

— Вы даже не умеете произносить по-малорусски. Вижу, это дело не пойдет. Читайте Добролюбова¹.

Поступив в Университет (Петербургский), на историко-филологический факультет, я продолжал вести тот же беспорядочный образ жизни, без правильных, изо дня в день, занятий, и только усердно, хотя и без системы, читал журналы и разные книги, какие попадались. Мой „нигилизм“ далеко не пошел, адептом культа естественных наук (потогдашнему) и базаровщины я не сделался, никакого определенного воззрения и жизненного плана у меня не было, — и я плыл по течению без руля и чувствовал, что нахожусь на распутье. Но это не причиняло мне особых огорчений. В глубине души таилась бессознательная уверенность, что раньше или позже я свою дорогу найду, — и я не торопился искать ее.

А пока что, — срезался на экзамене по латинскому языку и остался на второй год на первом курсе.

После каникул потянуло к правильной, систематической работе. Я принялся за русскую историю, за летописи и другие древне-русские памятники и, в частности, за историю русского права. Перейдя в Новороссийский Университет (после жестокого тифа), я продолжал занятия этими и другими предметами (история литературы, мифология и народная словесность, греческие и латинские классики и т. д.) и опять, как некогда в гимназии, стал прилежным учеником-самоучкой, но только без прежнего ригоризма и „подвижничества“. Мои новые умственные интересы на этот раз

¹ Об Авдиеве мне пришлось вспомнить в статье о В. Г. Короленко (Собрание сочинений, т. V).

не составили „комплекса“. Я просто учился, работал, читал, не тренируя себя, не предписывая себе никаких правил поведения. Религиозное чувство не вернулось. Моральных задач также не было. Радикализм и нигилизм оставались попрежнему в виде бесформенных туманных пятен в сознании. Вместо убеждений были только настроения, умственные и общественные симпатии и антипатии, да общее прогрессивное направление.

Впрочем, вскоре стал намечаться один симптом поворота в сторону некоторой сознательности общественных интересов и большей определенности понятий. Под влиянием занятий русской историей, под впечатлением блестящих лекций профессора Ореста Миллера и талантливой книги профессора Градовского (о национальном вопросе), а также вообще славянофильской точки зрения, во мне пробудился живой интерес ко всему „органическому“ в истории, *самобытному, национальному*. Некоторое время я увлекался великорусским национализмом и чувствовал себя „славянофилом-демократом“ на манер Ореста Миллера, а потом разделил поровну свои национальные симпатии между великороссами и украинцами. В Одессе я сблизился с местными украинофилами и даже был принят в Громаду. То „дело“, о котором некогда Авдиев решил, что оно „не пойдет“, теперь, казалось, готово было осуществиться. Но в конце концов Авдиев все-таки оказался прав: хотя в украинофилах я и числился, но украинцем не сделался.

Тем не менее мое пребывание в Одесской Громаде и мои личные дружеские отношения к ее старшим и младшим членам (я был в числе последних) оставили глубокий след и привели к существенно-важным и весьма благотворным для моего общего развития результатам. Громада была для меня школою политического воспитания. Она же привела меня к Драгоманову.

5

НАУКА И ЖИЗНЬ (1874—1893 гг.)

Об Одесском периоде моей студенческой жизни (1873—1876 гг.), об Университете и профессорах, о Громаде и ее отдельных представителях, в ряду которых были люди за-

мечательные, а равно и о годах моей приват-доцентуры в Одессе (1883—87 гг.) я буду говорить в другом отделе „Воспоминаний“.

Сейчас у меня иная задача: выделить из моей жизни в Одессе, за границей и потом в Харькове, за время от 1874 года до 1893 года, один элемент, для меня особенно важный, ставший как бы руководящим принципом всей моей жизни и деятельности. Это именно — *культ науки, как таковой, и высокая оценка ее роли, как могущественной движущей силы прогресса*. Для этого „культа“ у меня были прецеденты в прошлом. Он зародился (Бог весть, как и почему) в моей душе еще в годы детства; моя юность прошла под его знаком. В том психическом „комплексе“, о котором была речь выше, он играл видную роль; в годы моей беспорядочной жизни он все-таки оставался на своем месте. Веру в Бога я потерял, но веру в Науку сохранил нерушимо. К тому же за это время я успел ознакомиться с идеями Огюста Конта (по статьям Писарева, Лесевича, Михайловского, Вырубова и др., по книге Литтре и также по Спенсеру) и стал горячим приверженцем позитивной философии (и, разумеется, ненавистником всякой „метафизики“, как оно и полагалось тогда). Моя наивная, основанная на чувстве или на каком-то, я сказал бы, „инстинкте предстоящего развития“, вера в Науку получила теперь рациональную постановку и превращалась в род *убеждения или философской догмы*, казавшейся незыблемой. Я еще не сознавал тогда, что догматизм идей находится в явном противоречии с самой психологией научного мышления, и что мне лично, по коренным свойствам моего ума, он органически чужд. В том и в другом я убедился гораздо позже. Но в данное время я был слишком молод и слишком наивен, чтобы не *уверовать* в ту или иную идею, как едино-спасительную. И я „уверовал“ в Науку вообще, в *Социологию* в частности. „Социология“, не для меня одного в ту эпоху, было слово особенное, слово с обаянием и властью, — одно из тех, от которых воспламеняются молодые души, — и его магическая сила не уступала могуществу таких вещих слов, каковы *Свобода, Прогресс, Идеал* и т. д. Социология — венец научного здания. Она откроет законы социальной жизни и прогресса и тем самым даст человечеству возможность преодолеть все отрицательные стороны, все бедствия и недуги цивилизации. Социология —

это якорь спасения, это главный, если не единственный, путь к лучшему будущему, это—тот чудодейственный символ, указуя на который можно смело сказать человечеству: „сим победиши!“.

В связи с этой верой и догмой у меня намечалось некоторое отрицательное и, пожалуй, пренебрежительное отношение к общественному и политическому протесту, в особенности к протесту активному в виде заговора, бунта, восстания, пропаганды в народе и т. д. По этому адресу мне то и дело приходили в голову библейские изречения вроде: „суета сует“, „вскую шаташася языци“, а то и просто малорусское: „не суйся поперед батька у пекло“ (роль „батька“ исполняла, повидимому, все та же спасительная „Социология“).

Но при всем том меня неудержимо тянуло к „протестующим“, к „радикалам“, к „левым“. Это была *моя* среда, в которой я чувствовал себя хорошо, „своим человеком“, между тем как в кругах, где никакого протеста не возникало, где люди мирились с существующим порядком вещей, мне было как-то „не по себе“, нехорошо, неуютно, даже просто скучно и тоскливо. Но вместе с тем я чувствовал, что в каком-нибудь замкнутом кружке, резко-революционном и фанатическом, я бы также не ужился. К самоотверженным деятелям и героям тогдашнего (половина 70-х годов) воинствующего народничества и социализма я питал чувства уважения и пиэкета, но меня к ним не тянуло. Мне нужен был более свободный, более широкий круг левой интеллигенции, не связанный определенной программой деятельности (вроде, например, „хождения в народ“) и слишком тесной догмой революционного вероучения. Мне хотелось вращаться в среде, где уделяется внимание вопросам *исторического* и *национального* развития России, где также ценят и чтут науку, как таковую, где не требуют „опрощения“ и ничего не находят странного и зазорного в том, например, что я изучаю санскритский язык, усердно читаю Гомера, русские летописи, церковно-славянские тексты и т. д. Демократические идеи в их разных формах, начиная старым славянофильством и кончая новейшим (в то время) социалистическим народничеством, меня интересовали и манили, но постулат „опрощения“, отречения от науки и всех ценностей цивилизации, самозаклания интеллигенции на алтаре исключительного народолюбия был органически

чужд моей душе и противоречил всей совокупности моих умственных интересов и заветных стремлений.

Так вот, средюю, почти полностью отвечавшею моим запросам, и оказалась Одесская Громада. И я сразу почувствовал, что в ней я найду свое интеллектуальное и моральное пристанище. Были, разумеется, и другие круги, где я мог бы столь же хорошо чувствовать себя, например тот, представителями которого были С. Н. Южаков и Г. Е. Афанасьев. Отношения Громады к этому кружку были дружественные, но споры по национальному вопросу вообще и в частности по украинскому возгорались нередко. С „той“ стороны выступал обыкновенно С. Н. Южаков, с „нашей“ — наш „батько“ и лидер Леонид Анастасьевич Смоленский (педагог и ученый-историк), человек исключительного ума и дарований, глубокой искренности и кристально-чистой души, пафосом и страстностью прирожденного трибуна вызывавший в памяти обаятельный образ „неистового Виссариона“. Это был Белинский Одесской Громады, да и, пожалуй, всего тогдашнего украинофильства. Я не сомневаюсь, что при других условиях он мог бы стать великою силою на более широком поприще.

Так вот, участвуя в Громаде, я некоторым образом „участвовал в жизни“, приобщался к движению умов, знакомился с разными течениями общественной мысли, от умеренно-либерального до крайнего левого. В Громаде были представители всех оттенков, и были связи с деятелями активного народничества, с революционерами (например, с Желябовым). Тревожная жизнь с ее идеологиями, спорами, партиями вторгалась, таким образом, в мою студенческую „келью“, — и я далеко не был „отшельником“, как некогда в гимназические годы. *Жизнь и наука* не то состязались и мешали друг другу, не то стремились к соглашению в каком-то неведомом синтезе. По временам мне чувствовалось, что *я живу наукой, но вместе с тем живо интересуюсь и жизнью*. Иной раз, в моем самочувствии, термины менялись местами: мне казалось, что *жизнь уже захватила меня, что я живу собственно ею, но вместе с тем очень интересуюсь и наукой*. Возникал, конечно, и практический вопрос о будущем, о моем „призвании“: буду ли я деятелем жизни или только ученым и писателем? Надо, впрочем, сказать, что я никогда подолгу над этим вопросом не останавливался и не мудрил над своим

„призванием“: вопрос о нем лишь мимолетно появлялся в моем сознании или, вернее, в моем самочувствии и столь же быстро исчезал. Мне было как-то скучно раздумывать на эту тему. Да и некогда было: слишком много времени уходило на санскрит и на литературы сравнительного языкознания (Бопп, Потт, Шлейхер, Макс Мюллер, Як. Гримм, Бенфей, Шмидт, Фик, Лескин и др.), на мифологию и народную словесность, на славянские языки, на Гомера и т. д. А кроме того ведь надо же было для общего образования, да и в виду настойчивых требований все той же „жизни“, познакомиться с политической экономией, начиная Миллем и Рошером и кончая Марксом. Нельзя было пройти мимо вопроса о крестьянской общине и не прочитать диссертации А. С. Посникова. Равным образом следовало как-нибудь раздобыть запретные сочинения Герцена, а раздобывши невозможно было не увлечься ими до „самозабвения“, следствием которого явилось временное нарушение программы занятий санскритом. С другой стороны надо же было читать Спенсера, никак нельзя было пропустить случая прочитать, например, „La cité antique“ Фюстель де Куланжа или „Первобытную культуру“ Тейлора. А тут вдруг клином врезался в мои занятия еще один предмет изучения: меня потянуло к *расколу* и *сектантству*, и я, в ущерб санскриту, принялся за литературу этого предмета, начиная Щаповым и кончая „Епархиальными Ведомостями“. Продолжал я эти занятия и по окончании Университета. В этом увлечении сказалось одно из влияний жизни. Психологически дело сводилось к следующему.

Я не был народником в собственном смысле, но мысли о народе, о его горькой доле, нищете и невежестве не были чужды мне и с годами становились все более настойчивыми. Они возбуждали вопрос: где выход из этого положения? где искать просвета? Я не видел просвета... Ответа не было, и мысли о народе оставались уныло-безнадежными. В целесообразность пропаганды в народе, в спасительность воспитания, в возможность революции я не верил. „Пугачевщина“ внушала мне отвращение. Помнится, тогда же попалась мне пресловутая, бойко написанная, брошюра „Хитрая механика“. Она оставила во мне смутное чувство недовольства и протеста против *таких* приемов популяризации политико-экономических выводов и *таких* способов революционной пропаганды. С другой

стороны, затяжная правительственная реакция отнимала надежду на возможность реформ, которые могли бы сдвинуть народное дело с мертвой точки. Мне казалось очевидным, что народ все больше опускается, тупеет, вырождается... Не скажу, чтобы эти мысли занимали преобладающее место в моей душевной жизни, чтобы они уж очень беспокоили и волновали меня. Но в них было что то смущающее и безобразное, был какой-то яд, подтачивавший мое личное и мое общественное самочувствие.

Популярная в те времена идея *неоплатного долга имущих классов и интеллигенции перед народом* не овладела моим нравственным сознанием. А потому и „логический“ вывод из нее, требовавший опрощения, отказа от ценностей культуры и самопожертвования во имя народного блага, не казался мне нравственно обязательным и, следовательно, не мог служить для меня противоядием пессимистического отношения к народу и его судьбам. Повидимому, по свойствам своей природы, я не был пригоден для восприятия народнической идеи в ее подлинной психологической сущности. Тем не менее моя тогдашняя „идеология“, при всей своей бесформенности и туманности, все-таки двигалась в определенном — демократическом — направлении, с постулатом материального и духовного прогресса крестьянской массы.

И вот однажды меня вдруг „осенило“: *залог лучшего будущего скрывается в самом народе, — в его культурной вообще, религиозной и моральной в частности, самостоятельности. Признаки же народной самостоятельности я усматривал исключительно в расколе и в сектантстве.* Я знал, что раскольники и сектанты, при самых неблагоприятных условиях, в какие они поставлены, умеют создавать свое материальное благосостояние, что они трудолюбивы, трезвы, грамотны, честны, что у них сильна солидарность, и, наконец, у них есть некоторое, хотя и одностороннее, движение умов, их мысль так или иначе работает, усиленно ставя и решая вопросы добра и правды. Я слышал также, что раскольников и сектантов, вместе взятых, насчитывается весьма много, миллионов десять, если не больше. „Ведь это, как ни как, — сила!“ — думалось мне. А тут, около того же времени, появилась у нас, на юге, „штунда“, — секта украинская. До тех пор сектантство было как бы исключительной принадлежностью велико-

русской народности, — теперь на сектантский путь выступала и украинская. Отрицательные черты раскола и сект, как например фанатизм, обрядоверие, изуверство и т. п., меня не смущали. В свой черед они—думал я—сами собой исчезнут при свете просвещения и гуманных идей. К тому же есть секты, вероучение которых не оставляет желать ничего лучшего... Во всяком случае, в историческом явлении раскола и сектантства проявилось нечто органическое, самобытное, подлинно народное, т. е. как раз то самое, что вызывало во мне особое внимание и сочувствие. Как явление исторически-закономерное и как продукт духовной самодеятельности народа, раскол и секты являются залогом прогрессивного развития народной культуры. Движение не только не идет на убыль, но, напротив, распространяется и крепнет, это—великая сила,—продолжал я размышлять,—и сила *культурная*. Раскольники и сектанты—настоящие *культурные пионеры* среди обнищавшей, косной и темной народной массы. Интеллигенция бессильна повлиять на массу и сдвинуть ее с мертвой точки. Социальная революция—утопия. Спасение только в самобытном культурном развитии народа, в его самочинном религиозном и моральном оздоровлении...

И я с жадным любопытством и удвоенной энергией принялся за изучение раскола и сект в их прошлом и настоящем. Мне уже мерещились в недалеком будущем статьи, которые я напишу на эту тему. Года через три я их и написал (под заглавием „Культурные пионеры“); из них три появились в журнале „Слово“ в 1878-80 гг., а одна в „Русских Ведомостях“ (Скворцова) в 1879 г. Это были мои начальные литературные опыты, проба пера,—и в „Собрании сочинений“ я, разумеется, их не включил.

Занятия сектантством и расколом были одним из результатов „вторжения жизни“ в мою рабочую „келью“. Но, попав туда, мои раскольники и сектанты стали незаметно превращаться из факта „живой жизни“ в предмет живого научного любопытства. И вот тут то стало сказываться, что, по коренным свойствам и „вкусам“ моего ума я совсем не приспособлен к историческим изучениям,—и мое научное „призвание“ — другое: *психология*, наука, которую тогда я не занимался (лишь кое-что успел прочитать, в том числе первый том „Об уме и познании“ Тэна, в переводе Страхова). Но выходило так, что факты, с которыми я имел

дело, например, те же раскольники и сектанты, а также и разные другие, сами собой поворачивались ко мне своею психологической стороною. И я изучал не столько историю, быт, верования и т. д. раскольников и сектантов, сколько психологию их истории, быта, верований. Я заметил это лишь несколько лет спустя, когда с достаточной ясностью определился этот натуральный *психологизм* моего мышления, и когда я (уже в восьмидесятых годах) с жадным любопытством набросился на психологическую и частью психиатрическую литературу, в которой многое казалось мне как бы „своим“, заранее предугаданным, и где я интеллектуально чувствовал себя „дома“, в своей сфере.

Но это обнаружилось и дало свои плоды значительно позже (в конце 80-х и в 90-х гг.). В данное же время (вторая половина 70-х гг.) моя собственная психология — молодого человека, ищущего своего пути в жизни и своего дела в науке и литературе, не была ясна мне самому и не являлась предметом сознательного размышления и рефлексии. Я только чувствовал, что переживаю затяжной кризис, обусловленный постоянным вторжением „веяний жизни“ в мой внутренний мир. „Жизнь беспокоит (или трогает)“, мог бы я тогда сказать словами Обломова, с психикой которого (кстати упомянуть) у меня есть кое-что общее...

Ничего „трагического“, ничего фаустовского и мифистофельского в моем „кризисе“ не было. Я переживал его довольно легко, не осложняя излишним самоуглублением и раздумьем, не предрешая будущего, отдаваясь настоящему. И даже столь свойственные молодости декламации на тему о своем „призвании“, о „заветных мечтах“ и „стремлениях“ прорывались у меня сравнительно редко. Помнится, случалось иногда грешить в этом смысле за выпивкой в дружеском кругу и также риторикою некоторых интимных писем, причем написанное при воспоминании неизменно вызывало на лице краску конфуза. Одним словом, кризис, ставший хроническим, протекал беспечально и безбурно, лишь с легким, по временам, налетом меланхолии, к которой я склонен по натуре.

Очередное „веяние жизни“, внесшее свою долю в мой „кризис“ и вызвавшее новый приступ меланхолического раздумья, объявилось в образе первой книжки заграничного журнала „Вперед“, выходявшего тогда под редакцией П. Л. Лаврова. Не понравилась мне эта книжка! В особен-

ности неприятно поразила меня категорическая постановка вопроса: „что делать?“—Молодежи (а следовательно, и мне, грешному) предъявлялось суровое требование — быть непременно народником-социалистом, идти в народ с проповедью социалистического ученья и готовить народную массу к будущей социальной революции. Если кто этого не делает или, по крайней мере, не помогает другим это делать, то он—отступник от народного дела, враг народа, реакционер и чуть ли не вычеркивается из списка порядочных людей. Самый стиль и тон статей казался мне (хорошо помню) каким-то „торжественно-унылым“, „замогильным“, — точно кого-то или что-то хоронят. На меня повеяло духом сектантской исключительности. Насколько снисходительно относился я к фанатизму раскольников, настолько претил он мне в интеллигенции. Ригоризм требований, стремление отгородиться от „простых смертных“, высокомерное презрение ко всем, не воспринявшим социалистического верования, органически отталкивали меня, оскорбляя во мне мое человеческое достоинство. Все это казалось мне как бы посягательством на „естественное право“ человека—оставаться самим собою. А кроме того вся программа „мирной пропаганды в народе“ представлялась мне утопической и даже наивной. Я мысленно рисовал себе этакое пропагандиста в деревне, в хате, излагающим неграмотному мужику основы социалистической доктрины, — и уже чувствовал прилив меланхолии. Мне думалось также, что в случае успеха такой пропаганды, она, вольно или невольно, превратится в подстрекательство к бунту, к аграрным беспорядкам, к буйству толпы, к чему я относился совершенно отрицательно. Надо, впрочем, оговориться, что *тогда* этого рода мысли и чувства не выливались у меня в форму последовательной критики социалистического движения и оставались в стадии неопределенного и мне самому неясного психологического „протеста“. Революционный пафос, исключительность доктрины и ригоризм требований действовали на меня отталкивающим и охлаждающим образом. . . .

Припоминаю один мелкий, но показательный случай. На вечеринке громадской молодежи, на квартире одного из старших членов Громады этот последний, человек умный, симпатичный и глубоко-искренний, воспламенившись, произнес исступленную речь на тему о „неоплатном долге

народу“ всех и каждого из нас без исключения, в силу чего „все мы“ нравственно обязаны жертвовать собою для блага народа, а кто этого не сделает, тот—подлец! — „Пока мы еще не отделились всецело народной идее (а выше этой идеи нет ничего), до тех пор мы—подлецы“,—кричал оратор,— „и я подлец, и вы все, и вот он (указывая на меня) в том числе!“ Говоривший был мой родственник (муж моей кузины и подруги детства) и большой мой приятель (покойный В. Г. Малеванный). Я слушал сочувственно и с некоторой теоретической готовностью допустить возможность *такой* постановки вопроса („долг?—да, пожалуй, он есть... подлецы? в известном смысле, пожалуй, это и верно, если уже ставить вопрос столь резко и столь бредовым образом“...). Но чем больше входил оратор в азарт, чем пламеннее горели его слова, тем равнодушнее и холоднее становился я, и, наконец, почувствовал некоторую психическую духоту, спертость интеллектуальной атмосферы, мне чудилось что-то горячее и припадочное, и меня неудержимо потянуло в эту минуту к моим книгам, к „Сравнительной грамматике“ Боппа, к „Компендиуму“ Шлейхера, к анализу и рассуждению, к свободной, „чистой“ науке, к спокойной мысли вообще, к Спенсеру в частности! И на следующее утро, под влиянием все того же настроения, я с исключительным умственным наслаждением углубился в книгу английского мыслителя...

Еще несколько слов по поводу „долга перед народом“. Из вышесказанного видно, что чувство или сознание этого „долга“ было у меня очень слабо и сбивалось на нечто условное, предположительное, на род фикции, неспособной стать направляющею силою души. Но взамен того у меня было другое чувство или стремление, очень действенное, отчасти, пожалуй, аналогичное чувству „долга“, но основанное на совсем иного рода психологии. Оно было у меня вполне „свое“, давнишнее, не навеянное, не вычитанное.

Еще в гимназические годы у меня обнаружилось и потом все усиливалось безотчетное, как бы органическое тяготение к интеллигенции, живущей своим трудом, к „мыслящему пролетариату“. Могу заверить читателя, что первые всходы этого настроения уже были налицо до прочтения статьи Писарева, которая поэтому чрезвычайно пришлась мне по душе. Мне „ужасно“ (по-юному, по-гимназически) хотелось быть в этой среде „своим братом“, полно-

правным членом, а для этого, думалось мне, надо быть неимущим, надо жить своим заработком. Я же, принадлежа к богатой помещицкой семье, жил на всем готовом, не знал нужды, забот о куске хлеба, о завтрашнем дне, — и я завидовал своим товарищам и сверстникам, которые не были обеспечены и сами зарабатывали свой хлеб. Я бы охотно поменялся с ними своим положением, которое уже вызывало что-то вроде не то „стыда“, не то „конфуза“. Ничего в этом настроении не было идейного, возвышенного, самоотверженного. Это было чисто-психологическое влечение к другой среде, к другому образу жизни, отнюдь не сопряженное с принципиальным осуждением моей среды и той бытовой обстановки, в которой я родился и вырос. Мой „стыд“ или „конфуз“ не возвышался до степени мотива морального. Это было только как бы инстинктивным импульсом, обусловленным всей организацией моей натуры.

Сын помещика, я мечтал не о том, чтобы самому стать впоследствии помещиком и предводителем дворянства, как мой отец, а о том, чтобы сделаться, если не профессором, то, по крайней мере, учителем словесности, как Авдиев, и — главное — жить на заработанные своим трудом деньги. Надо оговорить, что мои отношения к отцу и ко всей семье были наилучшие, никаких домашних неприятностей не было, и я вовсе не являлся ни „блудным сыном“ в своей семье, ни протестантом в своей среде. У меня только не было ни малейших склонностей к тому образу жизни и роду занятий, которые обуславливались социальным положением моей семьи. В хлебопашестве, в овцеводстве, в разных предприятиях, вроде лесопильного завода и паровой мельницы и т. п., я ровно ничего не понимал, и разговоры обо всем этом казались мне чрезвычайно скучными. Лошадей не любил и никак не мог научиться ездить верхом. Не могли обучить меня и танцам, светскому обхождению. Моя неловкость и застенчивость делали меня совершенно неприспособляемым к условиям жизни в данном кругу, что не мешало мне в общем чувствовать себя хорошо в нем, — меня не стесняли, особых требований не предъявляли, меня любили и только посматривали с добродушной усмешкой — как на чудака, „не от мира сего“, что меня не огорчало и не задевало. Жилось мне хорошо, — но меня влекло к другой жизни. С годами это влечение усиливалось, — и когда,

„дикарей“. И все странное, нелепое, чудовищное в мифах, в религиозных верованиях, в обрядах культа, в учреждениях и нравах представлялось мне теперь в новом свете, исходившем из „клиники“. Канибализм, человеческие жертвоприношения, детоубийство, членовредительство (ритуальное и „эстетическое“), половые извращения, „священная проституция“, „священное пьянство“ (вакхические культы), обоготворение человека, колдовство, архаическая мистика с присущими ей невротами и психозами и т. д., и т. д., — все это выступило теперь в моем сознании на первый план, заслоняя собою все более или менее „нормальное“ и „здоровое“ в первобытной и архаической культуре, и рисовалось мне как закономерная, в порядке эволюции, но тяжкая и отвратительная *болезнь*, от которой человечеству пришлось излечиваться тысячелетиями.

Мифологическое творчество привлекало теперь мое внимание преимущественно своими нелепостями, и я находил в нем признаки *больного ума, патологической „логики“*, сопровождающейся иллюзиями и галлюцинациями. Древность полна бредовых идей, иллюстрацию которых нетрудно найти в клиниках.

Я и раньше держался того взгляда, что сама логика человеческого мышления создавалась и совершенствовалась в процессе эволюции, и что первоначальное мышление — *алогично*. Впоследствии, когда я прочел книгу Брюля (Lévi-Bruhl, „Mentalité des peuples primitifs“), этот вывод получил в моем воззрении более прочное обоснование. „Первобытный алогизм“ представился мне теперь как *закономерная болезнь мозга*, послужившая отправною точкою умственного развития человечества, которое в области мысли шло от алогизма к логике, как в сфере нравственных отношений оно шло от *аморализма к морали*, а в общем укладе психики и жизни — от *звериного к человеческому*.

На днях я прочитал у Ренана такую фразу: „... Человек в течение многих тысячелетий был сумасшедшим, после того как в течение многих тысячелетий он был зверем“¹. Я встретил эту мысль как „свою“, которая

¹ Вот все место: „L'homme débuta dans la vie progressive par l'ignorance absolue et l'erreur en quelque sorte nécessaire. L'homme fut des milliers d'années un fou après avoir été des milliers d'années un animal“ („Histoire du peuple Israël“, I, 26).

давно уже ворочалась на все лады в моей голове, питаюсь всеми сведениями о психике „дикарей“ и „варваров“, какие были в моем распоряжении. Один каннибализм чего стоит, в особенности если примем во внимание, 1) что в животном царстве он представляет собою крайне редкое, исключительное явление явно аномального характера, между тем, как в человечестве он явление закономерное (все народы прошли чрез каннибализм), и 2) что он возник не по нужде, не от голода, а в силу побуждений *религиозно-обрядовых* (это можно считать установленным).

Нелепо было бы судить о дикарях и о первобытном человечестве с точки зрения *наших* понятий, еще нелепее — *осуждать* их. Но нельзя не чувствовать глубокого *отвращения* ко всему укладу первобытной и дикой психики и жизни. Это отвращение вполне закономерно и ничуть не противоречит требованиям объективного исследования.

Обращаясь к дальнейшим фазисам культуры — к так называемым „высшим варварам“, потом — к начальным ступеням „варварской цивилизации“ и далее к типам развитой культуры Востока, античного мира, средних веков и т. д., — я не находил возможности перестать чувствовать отвращение. С годами оно прочно осело у меня в душе — как род унылого и едкого чувства затяжной, я бы сказал, „исторической“ и „социологической“ *тошноты*, которой я обязан, между прочим, тем, что она предохранила меня от исторического романтизма и от всяческой идеализации прошлого. „Тошнило“ меня от чудовищной нелепости индусских каст, от ужасающего варварства древних цивилизаций Востока, от „института“ рабства, от пресловутой античной культуры с ее чувственной „эстетикой“ „красоты“ тела, ее половыми извращениями, ее рабством, войнами и политиканством, „тошнило“ от кровавого „величия“ Рима, от средневекового феодализма, от чудовищного разврата эпохи Возрождения с ее показной культурой Медичисов, с ее бесконечными кровавыми распрями, в которых я никогда не мог разобраться, с ее бьющим в глаза психическим вообще, моральным в частности вырождением (одна фамилия Борджиа чего стоит!).

Не скажу, чтобы эта „тошнота“ была у меня чувством очень острым. Она умерялась, во-первых, свойственным мне историческим и социологическим любопытством и,

во-вторых, привычкою, вроде того, как студенты-медики привыкают к трупному запаху препаровочных и к ароматам клиник.

Научные интересы превозмогают „тошноту“... С особой заинтересованностью перечитываю я еврейский текст Библии — и многие страницы великой священной Книги трех религий претят мне, пожалуй, даже больше, чем иные страницы Риг-Веды и Зенд-Авесты...

Психическая „тошнота“, возбуждаемая, кроме старины, также и новым временем, известными сторонами текущего фазиса цивилизации, превратилась у меня в своего рода форму апперцепции явлений, мерилom оценки вещей. Я дорожу этим чувством и был бы огорчен, если бы оно исчезло. Но оно держится прочно и, осмысливаясь и углубляясь, приводит меня к воззрению на прошлое, историческое и доисторическое, как на сплошную картину *болезней развития, атавистических рецидивов, различных неврозов, психозов и ужасающей преступности.*

Каждый фазис социальной эволюции, думается мне, сопряжен с особыми формами *анормальных* и *аморальных* явлений, характеризуется особыми, для него симптоматическими психозами и проявлениями врожденного человеку зверства. Роковую роль в исторических судьбах народов сыграли широко распространенные процессы *вырождения*, физического и психического, на почве обнищания и отупления низших слоев населения, развращения высших, распространения эпидемий, алкоголизма и т. д.

Прогресс я свожу к понятию постепенного *оздоровления*, физического и душевного, социального и политического. Текущий фазис цивилизации, при всех его отрицательных сторонах, являет, сравнительно с протекшими, картину *относительного* здоровья. Прогресс — не случайность, а закономерная форма эволюции и необходимый постулат исторического развития передовых народов. Руководящими силами прогресса служат идеи свободы и справедливости, успехи разума и морали, при неустанной, планомерной и рациональной борьбе со всевозможными формами человеческого зла...

Прогноз будущего в общем утешителен. Он тем утешительнее, чем безотраднее диагноз прошлого. Настоящее в счет не идет. Разбираясь в его содержании, в инвентаре его добра и зла, мы должны одну часть, худшую, отнести

к прошлому, которое уходит, другую, лучшую, — к будущему, которое зачинается в недрах настоящего. Оттуда — мой умеренный, но прочный оптимизм, оттуда же мой живой интерес к вопросам психопатологии и криминалистики, о котором я говорил в начале этой главы моих „Воспоминаний“.

Система понятий, чувств и настроений, во мне сложившаяся вместе с теоретической работой моей мысли, образовала тот „психический комплекс“, под властью которого я живу и с которым умру.

II

„Я“ И „МОЕ“

Детство — Отрочество — Юность

(1853—1871 гг.)

Эту главу я посвящаю воспоминаниям о тех годах моей жизни, когда росло и складывалось мое „я“ и совершался процесс его первоначального приспособления к ближайшей среде. Это — годы детства, отрочества и юности, и это процесс выявления черт *индивидуально-наследственных* на фоне *familialных*; это также вопрос о влиянии ближайшей социальной среды.

В процессе приспособления к среде упражняется инстинкт социальности. Но в то же время пробивается, обособляясь, индивидуальное „я“. В окружающей семейной и общественной среде оно находит немало родственного и созвучного. Вместе с тем оно встречает там и много чуждого, не поддающегося психическому усвоению. Родное, созвучное, быстро ассимилируется, входя в состав личности и превращаясь в „свое“. Чуждое, несозвучное, даже будучи усвоено, раньше или позже отбрасывается, если личность обладает достаточно крепкими задатками самобытности. Этот двойной процесс протекает с наибольшей интенсивностью именно в годы детства, отрочества и юности. К этому-то и сводится так называемая „борьба за индивидуальность“, порою сознательная, большею частью бессознательная, крайне редко осмысленная и плановая.

Я довольно хорошо помню, как в свое время переживал я соответственные процессы выявления и развития моего „я“. Несколько сведений из области моей психической наследственности будут здесь нелишними.

Мои отдаленные предки, повидимому, были украинцы, вероятно запорожцы, лихо гарцовавшие на конях по необозримым южно-русским степям. Один из их потомков очутился в Молдавии, откуда перекочевал в Харьков вместе с Кантемиром. Сохранился документ, из которого видно, что этот мой пращур, полковник Куликовский, в награду за услуги, получил от правительства Петра II такие-то и такие-то участки земли в окрестностях Харькова. Его род прочно основался в этом городе (о чем, между прочим, свидетельствуют названия двух улиц — *Куликовской* и *Садово-Куликовской*). И только его внук, мой прадед, полковник Димитрий Матвеевич Куликовский в конце XVIII века, выйдя в отставку, покинул Харьков и переселился в Новороссию, где купил целую степь — от Днепра до Перекопа. Тут были имения Бехтеры, Красное, Каховка, Малая Каховка, которые он заселил крестьянами-великороссами, купленными в Курской губернии (копия купчей сохранилась в моем архиве), — и зажил помещиком, „магнатом“.

Это был, повидимому, человек не совсем обыкновенный, и его личная жизнь сложилась не по заведенному шаблону. Он был холост и одинок — и вдруг воспылал страстно, всепоглощающею любовью к жене чиновника Овсянико. По преданию, он „откупил“ ее у мужа и идилически прожил с нею несколько лет в одном из своих имений (вероятно в Бехтерах, в Днепровском уезде Таврической губ.). От нее он имел сына, который, как внебрачный, носил фамилию Овсянико; к ней впоследствии, по особому ходатайству, была присоединена фамилия его настоящего отца. Это был мой дед Николай Димитриевич Овсянико-Куликовский.

Госпожа Овсянико умерла молодой. Ее преждевременная смерть повергла Димитрия Матвеевича в такое отчаяние, что он на несколько лет отрезился от мира: заперся в мезонине Бехтерского дома, никого не принимал, никуда не выезжал. Только управляющий имениями (из крепостных) имел доступ к нему и ежедневно являлся с докладами. Что делал в своем одиночестве и добровольном заключении Димитрий Матвеевич, — неизвестно. Может быть, пил запоем? Едва ли, ибо на этот счет никаких указаний не имеется, и во всем нашем роду нет никаких признаков наследственного алкоголизма. Может быть, читал

запоем? Это весьма вероятно, ибо после него осталась огромная библиотека, заключающая в себе чуть ли не всю оригинальную и переводную русскую литературу XVIII века. Эта библиотека потом погибла, когда моему отцу и его брату вздумалось почему-то перевезти ее в Киевскую губернию (в имение Межигорку). Библиотеку отправили с чумаками, которые везли-везли ее — на волах, да так и не довели до места назначения. Я помню в детстве две случайно сохранившиеся книжки из этой сокровищницы: учебник фортификации и сборник охотничьих анекдотов. По всей вероятности, именно от прадеда я унаследовал страсть к чтению, приверженность к книге как таковой, равно как и склонность к меланхолии и уединению. Надо полагать, соответственные расположения были заключены в самой натуре Дмитрия Матвеевича и только обострились после смерти его возлюбленной, выступив в чрезмерном выражении. Я представляю себе, что Дмитрий Матвеевич в годы затворничества предавался чтению, грусти томной, меланхолическому раздумью и созерцательности. Ему люди были в тягость, но, повидимому, в этом чувстве не было ничего мизантропического. „Отшельник“ избегал людей, но никаких недобрых чувств к ним не питал. Скорее напротив... В доме, во всей усадьбе жизнь шла своим порядком, и, по приказу помещика, разрешалось всем, знакомым и незнакомым, поселяться в доме и жить „на всем готовом“ неопределенно-долгое время. Лица неизвестные должны были через три дня объявить свое имя, после чего, если не оказывалось каких-либо препятствий, могли остаться „гостить“ сколько пожелают. На Рождество и на Пасху для всех этих жильцов накрывали праздничный стол, обильный всякими яствами. Так люди, свои и чужие, жили да поживали на иждивении гостеприимного хозяина-отшельника, которого иные из них ни разу не видали. Однажды приехал молодой офицер. Когда, по прошествии трех дней, управляющий обратился к нему с просьбою сообщить имя, офицер заявил, что только самому помещику сообщить лично он может объяснить, кто он такой и почему очутился в его доме. Ему ответили, что помещик никого не принимает, что его видеть нельзя. Но офицер настоял на своем и, наконец, был допущен. Упав на колени, он рассказал свою историю: будучи определен в полк и получив жалованье, прогоны и деньги на обмун-

дировку, он всю сумму прокутил. Прослышав о чудеке-помещике, к которому можно „просто“ приехать и поселиться на неопределенное время, он так и сделал в надежде, что помещик не откажется как-нибудь выручить его из беды. Димитрий Матвеевич дал ему денег на экипировку и прочее и выхлопотал ему „амнистию“.

Прошло время, — и Димитрий Матвеевич вернулся к жизни, к делам и людям. Он перенес свою резиденцию из Бехтер в Каховку и принялся за хозяйство в широких размерах (хлебопашество и овцеводство). В моем архиве хранятся его письма, относящиеся к этому времени (первые годы XIX века). В них нет ничего интимного (все это распоряжения по хозяйству), но в них всетаки виден простой и добрый человек, спокойный и непритязательный; кое-где пробиваются искорки добродушного юмора. Орфография являет признаки малорусского произношения (например, смешение *и* и *ы*).

Какова была национальность этого человека? Какой язык был для него родной? Приходится ответить, что его национальность была уже *обще-русская*, но только наслонившаяся на украинской основе, и что его родным языком был тогдашний *обще-русский* литературный и разговорный язык, на котором он говорил вероятно с заметным малороссийским акцентом. Надо думать, что и украинский язык был для него всетаки „своим“.

Он умер в 1805 году и был похоронен в фамильном склепе в Бизюковом монастыре (недалеко от Херсона), где давно уже покоилась его подруга Настенька Овсянико. В течение лет тридцати или больше его тело почему-то не разлагалось, монахи показывали это „чудо“ за деньги посетителям монастыря, и только после большого разлива Днепра, когда склеп залило водой, его труп разложился.

Его сын, мой дед Николай Дмитриевич Овсянико-Куликовский унаследовал по завещанию все его имения и скоро занял соответственное почетное положение в крае. Его уважали и любили все его знавшие, кроме некоторых зоилов, вероятно чем-либо ему обязанных. Он был умный и добрый человек, всегда готовый оказать услугу, поддержать, помочь, — человек широкой души, беспечный, расточительный. Полная неспособность к скопидомству и расчетливости, наша родовая черта, была выражена в нем

с особливою яркостью. Оттуда, при огромных поместьях, — ранняя и тяжелая задолженность, впоследствии целиком доставшаяся моему отцу, который, в свою очередь, не отличался умением извлекать побольше доходов из всех статей хозяйства, зато умел раздавать свое добро и „устраивать“ всех, кто обращался к нему за поддержкой.

Судьба послала моему деду и жену подходящего нрава. Ее происхождение таково.

„Великолепный князь Тавриды“ Потемкин имел, как оно и полагается, немало незаконных чад от разноплеменных любовниц. В числе таких незаконнорожденных была дочь, которой он дал хорошее по тому времени образование и приличное приданое, а потом выдал замуж за греческого выходца Калагеорги, впоследствии херсонского губернатора. Чету Калагеорги Бог благословил многочисленным потомством; в особенности много было дочерей, которые все в свое время повыходили замуж за украинских помещиков. На одной из них — Варваре женился мой дед Николай Дмитриевич. Супруги жили сперва в своих имениях (большею частью в Бехтерах), потом (в сороковых годах) поселились в Одессе, где купили дом в Воронцовском переулке — и зажили широкой жизнью, вращаясь в высшем кругу общества. Николай Дмитриевич был в дружеских отношениях с Одесскими генерал-губернаторами — герцогом Ришелье, Ланжероном, Воронцовым и занимал выдающееся положение в губернском обществе. Живя широко и нерасчетливо, он наконец почти разорился, запутавшись в долгах. Пришлось вернуться в деревню. Земли и всяких „натуральных богатств“ было много, а денег мало, и они доставались с трудом, за ростовщические проценты. Мой дед умер в конце сороковых годов, удрученный долгами, расстройством дел, болезнями и, наконец, одним потрясающим семейным несчастьем¹. Семья была огромная (11 душ детей, из них четверо умерли в раннем детстве), жили дружно, весело и шумно, но вместе с тем как-то беспокойно, тревожно, ожидая — по временам — каких-то бед и напастей. Так это явствует из многочисленных, сохранившихся у меня

¹ Трагическая смерть одной из младших дочерей, которая вышла замуж, против воли родителей, за старика — графа Апраксина и вскоре в имении последнего (где-то на Волге) сгорела вместе с мужем во время пожара. Подозревали поджог.

писем деда, бабушки, прабабушки (дочери Потемкина) и других. Любили жизнь, но не умели ее устраивать в духе так называемого „разумного эгоизма“. Она у них как-то сама строилась и расстраивалась — на основах несокрушимого благодушия, неисправимой доверчивости и таковой же нерасчетливости. Эти психологические основы оказались однако весьма пригодными для установления добрых отношений с крестьянами. Конечно, и дед, и прадед, а также мой отец и дядя (Лев Николаевич) до отмены крепостного права были крепостники, но все они были помещики добрые и гуманные, — и прочно утвердилось и долго сохранилось в крестьянской среде добрая память Овсяннико-Куликовских, осложненная какими-то легендами и преданиями, переходившими из рода в род. Были преданья Каховские, и были Бехтерские. Бехтеры — единственное из имений, до последнего времени остававшееся во владении фамилии Овсяннико-Куликовских (Каховка давно уже перешла в другие руки).

Возвращаясь к „делам давно минувших дней“. Я упомянул о письмах деда. Из них, между прочим, видно, что этот степной помещик, получивший весьма скромное, даже по тому времени, образование, умел весьма хорошо излагать свои мысли, — что называется „владел пером“, и я склонен думать, что у него были задатки литературного дарования, которые при других условиях могли бы развиться. Еще одно замечание: почерк моего деда, отца и мой, при всех индивидуальных отличиях, — одного, фамильного типа. То же самое наблюдается и в фамильных чертах внешности и — еще ярче — в наследственности психической: при всех, очень резких индивидуальных отличиях, основные черты физического и психологического типа *Куликовских* взяли верх над теми, которые в этом ряде поколений относились к наследственности по женской линии.

Мой дедушка по матери Лука Иванович Мышковский (или, точнее, Гонзаго-Мышковский) был поляк, кажется почти обрусевший. Молодым офицером он участвовал в Турецкой кампании 1811 года. В числе пленных оказалась одна юная турчанка, которую молодой офицер полюбил любовью неугасимой — на всю жизнь и решительно отказался отпустить ее, когда, по окончании военных действий, вышел приказ — обменяться пленными. Ему удалось, с помощью верного денщика, спрятать ее и потом взять

с собою в Россию. Здесь ее окрестили (по православному обряду), и офицер женился на своей пленнице. Поселились они в Крыму, а потом переехали в Каховку и прожили долгую, счастливую жизнь до глубокой старости, оставив многочисленное потомство. Старшая дочь Елена Лукинишна, умница и красавица, вышла замуж за полковника Губарева, но очень скоро овдовела. В 1851 году на молодой вдове женился мой отец, тогда уже хозяин-помещик, владец местечка Каховки.

Я родился 23 января 1853 года в Каховке, — и здесь протекали мои детские годы. Здесь же жили и старики — дедушка Лука Иванович и бабушка-турчанка Елена Ивановна, которую, впрочем, старухой еще нельзя было назвать. Это была миловидная, маленькая, полненькая, кругленькая женщина, добродушная и приветливая. Порусски она говорила не хуже других, но помнила и свой родной язык и пела турецкие песни. Лука Иванович, который был, кажется, лет на 15 старше ее, все хворал и через несколько лет умер. Это был человек большой религиозности, повидимому без особой приверженности к вероисповеданию (католическому), так как он *motu proprio* перешел (в те же годы) в православие, чтобы иметь возможность исповедываться и причащаться (ксендза в Каховке не было). Его религиозность была, повидимому, созерцательного пошиба с оттенком пиетизма. От него остался рукописный сборник религиозных стихотворений чуть ли не масонского происхождения. Я помню старика уже больным в постели, к которой меня подводили, — он благословлял меня и говорил внушительно и проникновенно какие-то важные и душевные слова. Я их не помню, но догадываюсь, что это были слова о Боге, о Христе и Евангелии, о любви к ближним... Хорошо помню его похороны.

Елена Ивановна жила еще долго, у нас в Каховке, потом в Одессе у одной из дочерей (А. В. Сосновской) и скончалась в глубокой старости, в 1882 году, когда я уже готовился к приват-доцентуре. Она охотно рассказывала, в наивно-эпическом тоне, историю своего пленения. Припоминаю два эпизода. Лука Иванович, больной или раненый, был прикован к постели, когда был дан приказ отпустить пленных. Он взял пистолет, денщика с ружьем поставил у дверей, а юную пленницу поместил за кроватью, у изголовья — и категорически заявил: „не отдам, буду

стрелять!“. Оправившись от болезни, он отлучился по делам службы на день — на два, строго приказав денщику беречь пленницу как зеницу ока. Но пленница задумала побег и первым делом взлезла на дерево и спряталась на верхушке, в листве. Денщик суетился, звал, шарил по всем углам. Наконец он увидел ее на дереве. Тщетны были его просьбы слезть. Но наконец он нашел верное средство: достал конфеты, и пленница не устояла перед соблазном полакомиться.

Елена Ивановна очень любила и баловала меня. Я частенько приходил к ней со своими игрушками и книжками, иногда читал ей, помнится, из Загоскина, сочинения которого она хорошо знала. Старики жили отдельно от нас в маленьком домике с садиком, на своем хозяйстве. С этим домиком и садиком у меня связаны приятные детские воспоминания. Помимо лакомств, которые я там получал, было еще нечто неопределимое, неизменно вызывавшее во мне игру каких-то отрадных, умиротворяющих чувств. Я помню специфический характер этого настроения и могу отчасти объяснить его по аналогии с подобными же настроениями, какие мне случалось переживать потом, в течение всей моей жизни. Суть дела сводится к характерным особенностям моего индивидуального и социального самочувствия: мне хорошо, мне отрадно, когда я предоставлен самому себе и могу сосредоточиться на том, что меня в данное время занимает, и когда тут же находятся люди мне близкие или симпатичные, которые заняты своим делом или разговором и на меня не обращают внимания; я занят своим делом, своим внутренним „разговором“, — окружающие не мешают мне; но мне отрадно чувствовать их присутствие; мне приятно отвлечься на минуту от своих занятий и встретить ласковый взгляд или поймать улыбку. Я не одинок и в то же время я — „сам по себе“. Это у меня — черта стойкая, и большая часть моих сочинений так и была написана „на людях“.

В детстве я не чуждался общества сверстников, но мне было „отраднее“ в одиночестве. Игры, беготня, шалости имели свою заманчивость, но это было „не то“; это было интересно, приятно, занятно, но не давало той особой „отрады“ — „самоуглубления на людях“. Это чувство отрады, оставаясь общедушевым, однако локализовалось преимущественно в голове: хорошо было прежде всего

моей голове, — там происходила какая-то работа, доставлявшая мне тихую и светлую радость. Для успешности этой „радостной работы“ мне всегда нужны были некоторые материальные подспорья; в детстве это были, конечно, лакомства; потом (как и теперь) это — крепчайший чай или кофе. Спиртные напитки, даже легкое столовое вино в этом смысле — подспорья — не годятся.... Обозревая всю мою жизнь, поскольку она сводилась к умственной работе, я воскрешаю в памяти длинный ряд моментов „душевной отрады“, локализованной в голове, — от „работы“ детского умишка вплоть до настоящей минуты, когда я пишу эти строки, — и весь ряд сливается в моем ощущении в некоторое компактное целое, которое я назову „интеллектуальной радостью бытия“. Окружающую среду, жизнь людей, порядок вещей, время протекшее, время надвигающееся я вижу сквозь призму этой „радости“. Отнимите ее, — и для меня свет мира потухнет, жизнь обесценится, добро станет сомнительным, зло бесспорным.

Разумеется, не только у бабушки, в ее уютном домике и ее садике, где она варила варенье, бывало „хорошо моей голове“: то же самое, даже гораздо чаще, я испытывал и в нашем большом господском доме, — в моей „детской“, в гостиной, в кабинете отца, в нашем саду. Но почему-то резче врезались в мою память именно те моменты этого рода, которые я пережил у бабушки. Вероятно, так случилось потому, что тут было проще, уютнее, „демократичнее“. Этого последнего слова я тогда, конечно, не знал, но очень рано я стал испытывать особое, мне самому неясное, чувство какой-то неловкости, или стесненности — в „хоромах“, в парадных комнатах, в обстановке роскоши, где я ощущал в себе „барченка“. Это „звание“ почему-то претило мне. У бабушки, которая говорила „с эстим“, я барченком себя не чувствовал, — да и вся обстановка была простая, деревенская, старомодная. Нечто подобное повторялось в моей жизни много раз: в обстановке барского дома, даже родительского, как в деревне, так и в городе, мне было как-то неуютно, „не по себе“; в студенческой меблированной комнате, которую я не раз разделял с товарищами, мне было совсем хорошо, — я был тут „у себя дома“. Это чисто-психологическое (не моральное, не принципиальное) нерасположение к „барским хоромам“, к „изящной роскоши“ сохранилось у меня доселе.

Перехожу к воспоминаниям об отце и матери.

Мой отец был человек умный, с большим здравым смыслом, с юмором и широкой, открытой душой, но — без малейшей склонности к умственному развитию. Его образование было скудное (сперва так называемое „домашнее“, потом в кавалерийском училище в Петербурге); читать он не любил, литературных интересов у него не было никаких. Читал почти исключительно газеты—и, по своему, хорошо разбирался в текущих событиях. Книги же он почитывал только на сон грядущий. В последние лет тридцать его жизни (он скончался в 1901 году, 76-ти лет от роду) его излюбленным журналом была „Русская Старина“, очередной номер которой всегда лежал на столике у кровати. Его интересовали преимущественно статьи, относящиеся к эпохе Николая Павловича, которого он считал чуть ли не идеалом государя. Он был страстный помещик — хозяин и „предприниматель“. Жизнь в городе всегда тяготила его, он чувствовал себя хорошо только в деревне, среди хозяйственных забот. Хозяин он был очень хороший, если не отличный, но предприниматель не удачливый и опрометчивый. И если бы он никаких предприятий не затевал и ограничился кругом сельского хозяйства по заведенному порядку, то, по всей вероятности, он сохранил бы добрую долю своего огромного состояния. Немалая часть доходов уходила у него на добрые дела. Он органически был неспособен отказывать. Один еврей, также сельский хозяин, однажды сказал мне так: „у вашего отца, когда к нему обращались с просьбами, не было слова *нет*, было только слово *да*“. Он никому не отказывал, и, между прочим, при его материальном содействии Каховские евреи построили синагогу. Разумеется, церковь и школу он воздвиг исключительно на свои средства. У него была, можно сказать, страсть — „устраивать людей“, и с этой целью он нередко придумывал ненужные должности по управлению имениями. В Каховке был большой штат служащих — целое „министерство“, и все это были люди хорошие и добрые (у меня сохранились о них лучшие воспоминания), но только их „деятельность“ не всегда отвечала подлинным нуждам и пользам огромного хозяйства, *если иметь в виду чисто-коммерческую точку зрения*. Но у отца была совсем другая „точка зрения“: он жил и другим давал жить,—и делал он это в простоте душевной, вовсе не воображая, что благо-

детельствует, и не замечая, как постепенно огромное хозяйство превращается в благотворительное учреждение. Но, думаю я, не от этого он разорился. Крах произошел главным образом от неудачных предприятий, каковы были кожевенный завод, оставшийся недостроенным, колбасный, к сожалению несколько лет действовавший, и фабрика гнутой мебели, очень скоро упраздненная, когда первые же ее продукты, „венские“ стулья и кресла, расставленные в зале, однажды ночью стали лопаться и открыли пушечную пальбу, переположившую весь дом. Много денег проглотили эти предприятия, увеличивая давнишнюю тяжелую задолженность, начало которой было положено еще моим дедом. Удачными оказались только два предприятия: паровая мельница и таковой же лесопильный завод, — они до сих пор красуются на высоком берегу Днепра. Как бы то ни было, но в 1879 году моему отцу пришлось продать Каховку. Ее купил (за 1.135.000 руб.) богатый лесопромышленник Панкеев, об одном из сыновей которого, Константине Матвеевиче, несомненно вписавшем свое имя в историю нашего освободительного движения 1904—1906 гг., мне придется говорить в другой главе этих „Воспоминаний“. После продажи Каховки, за уплатой долгов, осталось тысяч пятьдесят рублей, — отец купил маленькое имение (Рея) в Волынской губ., где и принялся хозяйничать с обычным увлечением, по прежнему затеывая убыточные предприятия; но самое то хозяйство вел отлично. После его смерти имение, сильно задолженное, досталось моему младшему брату Григорию Николаевичу, ныне уже покойному († 1911 г.).

Я не унаследовал от отца никаких черт помещика, хозяина и предпринимателя. К этому роду занятий и положению, с ним связанному, у меня нет и следа какого-либо влечения, как нет и тени соответственных способностей. Это — не „мое“, не „родное“, не „созвучное“. В деревне мне скучно; в обстановке помещицкой жизни я впадаю в тоску и уныние. Я, родившийся и выросший в деревне, — горожанин по призванию. Среди городской суеты — мне хорошо. И хотя в сутолоке городской жизни я почти не участвую, но „моей голове хорошо“, когда кругом кипит жизнь, снуют люди. В шуме и грохоте больших городов, в потоке беспощадной политической, общественной, литературной жизни мне особенно отрадно мое уединение,

мое раздумье, и благотворно-радостен покой сосредоточенного умственного труда... В моей памяти отчетливо сохранился „вещий сон“, который я видел в детстве. Мы (отец, мать и я) едем в экипаже по неведомым степям и наконец к вечеру въезжаем в неведомый большой город. Уже темно. Мы проезжаем по узкой, шумной улице; многоэтажные дома ярко освещены. Я с любопытством и восторгом смотрю на освещенные окна. Несказанной радостью забилось мое сердце, — и я проснулся с чарующей мыслью: вот тут я буду жить, и мне будет так хорошо, хорошо....

Свою мать, как сквозь сон, я помню высокой полной красавицей с черными волосами и голубыми глазами. Помню ее маленькую выхоленную ручку, меня ласкавшую. Но гораздо лучше сохранилась она в моей памяти — как тяжело-больная, страшно исхудалая, изможденная. Она уже не могла ходить, — ее возили в кресле на колесах. Это была женская болезнь, осложненная болезнью спинного мозга, затянувшаяся лет на шесть. Выписывали в Каховку лучших врачей, затем повезли больную в Киев к тамошним знаменитостям — профессорам Матвееву и Мерингу, потом — в Вену к знаменитому Опольцеру, оттуда — в Гаштейн. Ничто не помогло, и вскоре по возвращении домой она скончалась еще молодой женщиной (в 1865 г.). Мне было тогда уже 12 лет, и я живо помню ее смерть и похороны, скорбное время траура, мои слезы и глубокую, долгую печаль....

Период 1862—66 гг., когда я учился дома, был периодом пробуждения во мне каких-то смутных, неопределенных стремлений умственного порядка. Ученик я был бойкий и не обнаруживал ни особых усвоительных способностей, ни быстроты соображения. Но я много читал, — главным образом, конечно, беллетристику, и очень любил стихи, которые легко заучивал наизусть. Больше всего нравились мне стихи Лермонтова и Майкова. „Хаджи-Абрека“ первого и „Три смерти“ второго я знал наизусть почти целиком и то и дело декламировал самому себе нараспев, в приподнятом тоне. Чутье стихотворного ритма пробудилось во мне и быстро развилось, — и я сам пробовал сочинять стихи. К прозе обратился я лишь в конце этого периода, когда оказалось, что в моей голове бродят какие-то мысли, смутные, неясные, но заманчивые — по-детски недетские. Эти поползновения не были беллетри-

стическими: мне и в голову не приходило сочинить, например, сказку, рассказ, повесть. Манили меня темы исторические, либо, если позволительно так выразиться, „идеологические“. Помнится, однажды я написал о Сократе и по этому случаю изложил какие-то „свои“ мысли о религии, о вере в бессмертие души, о высокой морали... Сократ представлялся мне как бы предтечей Христа... Помнится, была тут и полемическая выходка против современного безверия и вольнодумства: прислушиваясь к разговорам и спорам взрослых, я налету схватывал этого рода мысли,— и они вызывали во мне наивно-детский протест. Мой наставник, прочитав сочинение, сказал мне, что написано оно недурно, но что не подобает мне затрагивать вопросы, недоступные моему пониманию и возрасту.

Этот мой наставник, память которого я глубоко чту, первый, как я догадываюсь, подметил во мне склонность к умственному труду и предвидел мою будущую карьеру ученого и писателя. Это был Адольф Доминикович Марсикани, итальянец, родившийся и выросший в Казани и совершенно обрусевший. По-русски он говорил как коренной русский, но знал и свой родной итальянский язык; свободно владел французским, немецким и польским и вообще был человек широко образованный. По специальности он был врач, блестяще окончивший курс медицинского факультета в Киеве, где — ради лечения моей матери — мы прожили два года (1862—63). Приглашенный в качестве моего наставника, он мог бы с успехом исполнять попутно и другую обязанность — домашнего врача при моей матери, в чем была настоятельная необходимость. Но у него был товарищ и приятель, некто Поппер, из бедной еврейской семьи, также с отличными успехами окончивший медицинский факультет. Его то и рекомендовали отцу — как домашнего врача. Отцу предстояло на выбор: взять либо одного — врачом и наставником, либо двух — одного наставником, другого — врачом. А так как вдвое лучше дать пристанище и заработок двум, чем одному, то мой отец предпочел первое. И вот в нашем доме, как бы членами нашей семьи, оказались два молодых человека, оба умные, образованные, симпатичные, живые, веселые. На обоих лежал отпечаток лучшей поры 60-х годов, — чего-то светлого, просвещенного, гуманного, чего-то от духа Н. И. Пирогова, который как раз тогда

был в разгаре своей достопамятной деятельности как почитателя.

Марсикани преподавал мне и моему двоюродному брату и сверстнику Андриюше Мышковскому, жившему у нас, положенные предметы и также французский и немецкий языки, а Поппер, помимо своих обязанностей домашнего врача, занимал нас разными рассказами, анекдотами, шутками и читал нам стихи и подходящие книжки. Он очень любил детей и мог часами возиться с ними, хохоча и забавляясь как ребенок. Он был большой любитель театра и декламации и, кажется, в глубине души думал, что его настоящим призванием было драматическое искусство, а не медицина. Это был, что называется, „добрый малый“ и „душа-человек“. Но и врач он был недурной. Года через четыре он и Марсикани, благодаря материальной поддержке со стороны моего отца, получили возможность поработать в венских клиниках, написать диссертации и стать докторами медицины.

С обоими у меня, да и у всех наших родных и близких, связаны лучшие воспоминания.

Поппер впоследствии устроился домашним врачом у одного из богатейших помещиков Таврической губернии Фальц-Фейна и там же вскоре скончался от тифа, во цвете лет. Очень опечалило меня известие о его смерти.

Педагогическая деятельность не была призванием Марсикани. Он не обладал даром вызывать в учениках интерес к предметам преподавания. Я учился у него как-то вяло. Но он оказал весьма благотворное влияние на мой детский умишко — помимо ученических занятий — беседой, разговором, всегда умным и содержательным. Не одно доброе и умное слово, услышанное от него, незаметно запало мне в голову, чтобы потом, в положенный срок пустить живые ростки в сознании....

Годы 1863—66, период Марсикани и Поппера, были временем „либеральных веяний“ в нашей семье. Мой отец, вообще невосприимчивый к „духу времени“ и чуждый как последовательного консерватизма, так и такого же либерализма, в эти годы все-таки поддавался настроениям, которые можно назвать умеренно-либеральными и осторожно-просветительными. Человек глубоко лояльный, он, как помещик, предводитель дворянства и земский деятель, шел на встречу всем реформам Александра II, хотя неко-

торые из них казались ему излишними или чрезмерными. Но дух протеста ему был совершенно чужд. Зато, к сожалению, не были чужды ему некоторые дворянские предрассудки, странно уживавшиеся в нем с прирожденной гуманностью и благожелательным отношением ко всем людям без различия звания и состояния, национальности и вероисповедания. Эти предрассудки явились, между прочим, причиною некоторых прискорбных семейных раздоров. Так он поссорился и совсем разошелся с своей сестрой Елизаветой Николаевной, женщиной добрейшей души, за то, что она, не внимая его увещаниям, вышла замуж (вторым браком) за еврея доктора Грумберга, человека весьма почтенного. Около двадцати лет тянулась эта ссора, и только на старости лет, в 80-х годах, отец примирился с сестрой и ее мужем.

Неприятные черты, вытекавшие из дворянских предрассудков, не отражались однако на общественной деятельности моего отца — их влияние ограничивалось семейным кругом. Как общественный деятель, как землевладелец, как человек „видный“, „с весом“ и „положением“, мой отец был чрезвычайно популярен если не во всем Новороссийском крае, то по крайней мере в двух губерниях — Таврической и Херсонской. Его знали, уважали и любили все русские всех сословий, евреи, немцы-колонисты, — и было принято заочно называть его не по фамилии, а по имени-отчеству: „Николай Николаевич“.

В Каховке жили по-помещичьи — сытно, весело, шумно, радушно, гостеприимно. Помню пикники, вечера, поездки, домашние спектакли, съезды родственников, наезды гостей и т. д. Я имел свое общество сверстников и сверстниц. Детская жизнь текла также по-помещичьи — оживленно и шумно, отражая жизнь взрослых, и в эти годы сравнительно редко выпадали для меня моменты излюбленного „уединения на людях“, когда „моей голове бывало хорошо“. С этой стороны „либеральный период“ нашей Каховской хроники дал мне гораздо меньше, чем предшествующее и последующее время.

Болезнь матери не мешала веселиться. Большая любила общество, и большая часть развлечений, например пикников и вечеров, устраивалась для нее. Насколько позволяла болезнь, она принимала участие в общем оживлении. Ее все любили — за доброту, за ум, за приветливость и раду-

шие. С ее смертью веселье сразу потухло, — потянулись дни траура и печали....

Поппер уехал в Вену — работать в клиниках. Марсиани остался на зиму, продолжая занятия со мной, а потом, в свою очередь, отправился в Вену. Друга моего детства Андрюшу Мышковского родители взяли домой, в Перекоп. Родственники, подолгу гостившие у нас, разъехались. Дом опустел. Для меня настал черед одиночества, которое не было мне в тягость. Я много, по-своему „работал“ — читал, что-то писал, сочинял стихи, „размышлял“, грезил. И, большею частью, „хорошо было моей голове“. Мой братишка Костя, года на четыре моложе меня, не нарушал моего уединения. Он жил своим детским мирком под присмотром тетюшек и нянюшек. Это был мальчик умный, живой, бойкий, любимец и баловень семьи. Характером и склонностями он всего менее походил на меня, но мы с ним жили дружно, не мешая друг другу.

Через год отец повез меня в Одессу и поместил на „полном пансионе“ в семье наших родственников Ивановых, где я должен был готовиться к поступлению в третий класс Ришельевской гимназии. На следующий год, выдержав (не блестяще) положенный экзамен, я и поступил туда, продолжая жить у Ивановых. Учился я неровно, хотя и старался не отставать. Не давалась мне арифметика, а учитель Розенберг, отличный математик и даровитый преподаватель, был строг и взыскателен. К моему огорчению, он требовал быстроты соображения, математической смекалки, чего у меня совсем не было. Он ставил мне двойки, я плакал, а он говорил: „Фу какой плакса!“ — Впрочем, годовой отметкой у меня все-таки оказалась тройка. Успевал же я по истории, географии и русскому языку. За сочинение на свободно избранную тему я получил пятерку. Историю и географию преподавал молодой педагог, тогда только что начинавший свою блестящую учительскую деятельность, — Леонид Анастасьевич Смоленский, впоследствии лидер Одесской Громады, — о нем я говорил в первой главе этих „Воспоминаний“. В то время (1866 — 67 гг.) Леонид Анастасьевич, сколько я могу судить, еще не был „украинофилом“ и „левым“. Человек выдающегося ума и великой моральной силы духа, он был натурой разносторонне даровитой и в частности был одарен исключительным талантом преподавателя, —

он владел тайною покорять детские и юные умы не только блестящим изложением предмета, мастерски приспособленным к возрасту, но и необыкновенно умным и практическим методом преподавания. Материал (исторический и географический) в его изложении как-то сам собою укладывался в голове учеников, и все его части постепенно располагались в стройном порядке, образуя гармоническое — я сказал бы мастерское *архитектурное* целое. Учебник отодвигался на второй план; на первом были наши записи, которые мы вели под его диктовку. Его уроки разделялись таким образом на две категории: на те, на которых нужно было только слушать, следить за его живым, ярким изложением, и на те, когда он диктовал, сопровождая диктовку необходимыми пояснениями. Учитель он был довольно строгий, умел, без особых усилий, поддерживать дисциплину в классе и ставил отметки по справедливой оценке, не скупясь, когда нужно было, на двойки и единицы. Его уважали все; многие, и я в том числе, обожали его.

Перейдя в 4-й класс, я на каникулах в Каховке принялся составлять „курс древней истории“. Это был мой первый „серьезный“ (по возрасту) труд и единственный за всю мою писательскую жизнь „плагиат“. Я широко использовал записи, сделанные в классе под диктовку Смоленского и весь материал („история древних народов востока“ и „история Греции до Александра Македонского и диадохов“ включительно) изложил по его же системе и плану. А „источником“ и „пособием“ служила мне „История древнего мира“ Шлоссера (в русском переводе под редакцией Н. Г. Чернышевского), в те годы одна из моих любимых книг, которую я много раз перечитывал. Этот мой детский труд, с некоторыми добавлениями к нему, сделанными позже, сохранился в моем архиве.

После каникул я уже не вернулся в Одессу, меня перевели в Симферопольскую гимназию и, к моему великому смущению, поместили в квартире губернатора. Дело в том, что к этому времени мой отец женился вторым браком на дочери Таврического губернатора Григория Васильевича Жуковского и сам с молодой женой переехал на зиму в Симферополь; но так как засиживаться в городе он не любил и его тянуло в деревню, то он проводил в городе всего месяца четыре в году; мне же, как гимна-

зисту, надлежало оставаться в Симферополе весь академический год, — вот поэтому-то меня и устроили в семье губернатора, под крылышком губернаторши, симпатичнейшей и добрейшей Екатерины Ивановны Жуковской.

Впрочем [меня поместили здесь лишь временно, и на следующий год я уже водворился в родительском доме; там, вместе с братом Костей и его наставником, я занял мезонин, где и протекли лучшие годы моей юности, когда я, наложив на себя „эпитимию“, так ревностно занимался учебными предметами и сверхурочным греческим языком, упражняя „моральную волю“. Это было время (1868—70) господства в моей душе того „психического комплекса“, о котором я говорил в первой главе „Воспоминаний“. Это было время пущего разгара моей юной созерцательности, моего интеллектуального сосредоточения, — и „моей голове было так хорошо“, как редко бывало раньше и позже. Тогда жизнь, маня и радуя, еще „не беспокоила“, не было компромиссов с нею, и я — на людях — оставался сам собою, полным хозяином своего внутреннего мира, и переживал, казалось мне, несокрушимый покой духа в непрерывном умственном труде и наивной созерцательности юного ума. И вот сейчас я испытываю порою страстное желание пережить нечто подобное еще раз — на старости лет, в последние годы жизни . . .

Мое исключительное рвение к занятиям, мое „сверхприлежание“ несколько беспокоило отца, как и мою добрую и умную мачеху Екатерину Григорьевну и ее мать Екатерину Ивановну, которая больше других старалась „расшевелить“ меня, ввести в общество, научить хорошим манерам и светскому обхождению. Мне говорили, что кроме книжной науки нужно еще знать „науку жизни“, что, вечно сидя за книгами, я стану нелюдимым и беспомощным. И вот, например, вместо греческого языка, было бы лучше брать уроки танцев и т. д., и т. д. Ко всем таким увещеваниям, всегда деликатным и щадившим мое самолюбие, я оставался совершенно глух, — и спокойно и даже весело отвечал, что я решил поступить, по окончании гимназии, на историко-филологический факультет и хочу быть ученым-классиком, а потому греческий язык мне необходим; а что касается „светского обхождения“, „манер“ и танцев, то рад бы стараться, но ведь все равно из этих стараний

ничего не выйдет... И скоро на меня „махнули рукой“ и предоставили собственной участи.

Хорошо жилось мне с братом Костей и его учителем в нашем мезонине. Учитель Федор Иванович Юргенсон в отношении ко мне никаких обязанностей не нес; но, человек умный и просвещенный, он заинтересовался мною и сразу понял, что я, должно быть, инстинктом угадал свое призвание. Из его уст мне также пришлось раза два услышать вышеприведенные „увещевания“, но мне было ясно, что он говорит это не по собственному почину и в данном вопросе стоит на моей стороне. Это был русский немец, типичный „вечный педагог“, бессемейный, одинокий, — немножко ворчун, критикан и спорщик, но не педант, человек с широкими умственными и общественными интересами, гуманный и либеральный. Несмотря на различие возраста (ему было тогда, должно быть, лет сорок), у нас установились отношения относительной „равноправности“. Подолгу мы беседовали на разные темы, и, несомненно, он оказал благотворное влияние на меня, идя, по возможности, навстречу моим умственным запросам. От него же впервые услышал я имя Потебни. Раньше он жил в Харькове — домашним учителем и знал А. А. Потебню студентом или, может быть, уже окончившим курс и готовящимся к кафедре. Он говорил о Потебне, как о призванном человеке науки, отрешившемся от мира и соблазнах его. Помнится, он начал разговор так: „вы мне напоминаете одного моего харьковского знакомого, Потебню, который, как вот вы, изучал греческий язык, а также и санскрит, о котором вы мечтаете“....

Период моего юного „подвижничества“ окончился в 1870 году, когда я перешел в 7-ой класс. С этим совпало появление в нашем доме нового лица, с которым я до сих пор сохраняю добрые отношения. Однажды (на каникулах, в Каховке) я вошел в кабинет отца, чтобы по заведенной привычке порыться в книжном шкафу. В комнате сидел незнакомый мне молодой человек. Он поднялся и, протягивая руку, сказал: „позвольте познакомиться, — я новый секретарь вашего отца, такой-то“. Мы разговорились. Молодой человек (лет на пять старше меня), высокий, стройный, очень красивый блондин, сразу понравился мне умом, остроумием, характерным складом речи и в особенности заинтересовал меня тем, что представлял собою

выходца „из другого мира“, мне чуждого, но глубоко-любопытного. К. И. М—в был сын бедного чиновника, горького пьяницы, потерявшего место и опустившегося „на дно“. В пьяном виде он выругал царя, и возникло „дело“, которое однако удалось замять, — пропойцу водворили в богоугодное заведение, где через несколько лет он и умер. Мать и братишка остались на попечении К. И., который поэтому должен был бросить гимназию и поступить писцом в канцелярию губернатора. Благодаря уму, врожденной деловитости и хорошему почерку, он, как говорится, „получил ход“, но все-таки семья бедствовала, ибо жалованье было мизерное. Наконец на него обратили внимание моего отца, который и взял его к себе в секретари (по должности губернского предводителя дворянства). Молодому человеку было положено приличное (по тому времени) жалование (конечно из средств отца), семью устроили на казенной квартире, а сам К. И. по крайней мере полгода проживал у нас в Каховке на всем готовом. Молодой чиновник быстро пошел в гору, — из низов сразу попал в высшее губернское общество и, в частности, стал как бы членом нашей семьи, где ему жилось хорошо и привольно. Я очень сблизился с ним, и мы проводили долгие часы в разговорах, которые производили в моей юной душе „не от мира сего“ какой-то „сдвиг“, вносили в нее новое начало, разлагающее и созидающее, — какую-то психически и морально необходимую отраву. Выходило так, что я очутился в положении юного Каховского Фауста, а он выступил в роли молодого Симферопольского Мефистофеля. Он много говорил на ту тему, что я — барченоч, живущий на всем готовом, не знающий, что такое нужда, нищета, голод; мое будущее обеспечено; между тем как он прошел с детства тяжелую школу бедности, унижений, забот о завтрашнем дне. Эти речи заставляли меня глубоко задумываться над вопросами, которые я знал только понаслышке да по романам. Теперь передо мной был живой представитель мира бедноты, сам испытавший с малых лет лишения и тернии жизни и рассказывавший обо всем этом живо, умно, серьезно, без сентиментальной слезы и без нарочитой пропаганды соответственных — гуманитарных — идей. Идейного протеста у К. И. М—ва не было ни тогда, ни потом. Зато был протест чисто-жизненный, бытовой, психологический. А это и было то, чего мне не доставало,

что являлось для меня психической и моральной потребностью — как противовес и противовядие моей отрешенности от мира, моей „книжности“, неведению темных сторон жизни и „прекраснодушию“. К. И. подвергал резкой критике „тепличность“ моего воспитания и указывал на необходимость „знать жизнь“ и — брать ее, как она есть, не мудрствуя, не „распуская нюни“, не сентиментальничая. В „политику“ он не вдавался, и вскоре, когда я стал зачитываться Писаревым, Добролюбовым, Михайловским, оказалось, что К. И. все это читал и знает, но „на это ухо он глух“, — никакие идеологии не находили доступа к его душе. Его жизненная задача сводилась лишь к тому, чтобы „устроиться“, „выйти в люди“ и, буде возможно, разбогатеть, — и все это так и случилось не далее, как лет через 10—12 спустя. Люди, мало знавшие его или неспособные его оценить, видели в нем только „ловкого малого“, карьериста, дельца. Но я уже тогда усмотрел в нем черты, указывающие на то, что он далеко не подходит к обычному типу карьериста. Это была прежде всего известная независимость характера, выражавшаяся в его мнениях и поступках и — что важнее — в отсутствии угодничества, лести и лицемерия. А засим это были те черты, которые вытекали из его исключительно выдающегося ума и разносторонней и яркой даровитости. Я видел в К. И. прежде всего и по преимуществу талантливую „самородку“ и самоучку с широкими умственными интересами, не согласующимися с психологией карьериста в тесном и пошлом смысле этого слова. Будущее вполне подтвердило мой заблаговременный прогноз. За свою долгую жизнь К. И. последовательно превращался из просто образованного и начитанного человека в отличного юриста и, наконец, на старости лет, весьма основательно изучил медицину. Сейчас он изучает английский язык; а французскому научился уже будучи видным чиновником и землевладельцем.

Привлекали меня также его литературные стремления. Он владел пером, и его бойкие статьи-фельетоны от времени до времени появлялись в „Одесском Вестнике“ (в 70-х годах). Впоследствии он выступил на более широком литературном поприще — как сотрудник Петербургских газет и редактор-издатель серьезного агрономического журнала.

Но я забежал вперед. Возвращаясь назад, к годам моей

ранней юности, упомяну еще о том, что К. И., имевший большой успех у женщин и не чуждый донжуанских наклонностей, открывал мне, в этом „вопросе“ круглому невежде, тайны „науки страсти нежной“, — и в этой сфере я опять явился — психологически — в положении Фауста (очень смешного), а он — в роли губернского Мефистофеля, рассказывающего о своих многочисленных романтических похождениях. Но в этой „области прикладного знания“ я оказался совсем бездарным. Конечно, я влюблялся, мечтал, писал соответственные стихи, но никакого успеха не имел, уподобляясь тому Щедринскому генералу, который „не столько сражался, сколько был сражаем“...

Подводя итог детской и отроческой полосе моей жизни, я скажу, что за это время довольно ясно проявились важнейшие задатки моего последующего развития. Мое „я“ выявилось и определилось, подбирая в окружающей среде всё „свое“ и отбрасывая „не своё“. Попутно обозначилась и та черта моего характера, которую несколько лет тому назад П. Д. Боборыкин метко определил термином „тихое упорство“. Не помню о чем шла речь, но помню — Петр Димитриевич, горячась, тщетно старался в чем-то меня убедить или переубедить или что-то внушить, — и наконец, махнув рукой, сказал в сердцах: „вы мягки, вы податливы, вы уступчивы, но под всем этим у вас скрывается какое-то пренебрежительное *тихое упорство*, — и ничего с вами не поделаешь“....

III

ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА

(1871—1876 гг.)

Что такое *студент*? Это — такой молодой человек, который—предположительно—приобщается или может приобщиться к „настоящей науке“. Но этим вопрос не исчерпывается. Ибо студент, кроме того, есть такой молодой человек, в котором еще жив гимназист. Гимназист в студенте упорно держится по крайней мере на первых двух курсах Университета и только на третьем постепенно стусевывается, чтобы уступить место созревшему молодому человеку, которому поскорее нужно получить диплом и вступить в „настоящую жизнь“, минуя „настоящую науку“. Но есть исключения, и их немало. Сюда относятся, во-первых, те, которые пришли в Университет с более или менее определенными научными настроениями и с помыслами о карьере ученого. Во-вторых, сюда же я отнесу и всех тех, которые, не помышляя об ученой карьере, стремятся однако получить не только диплом, но и общее или специальное научное образование, усердно слушают лекции, для диплома ненужные, читают серьезные книги и стараются выработать—для себя, для души—систему понятий о важнейших вопросах мысли и жизни. Гимназист, разумеется, продолжает сидеть как в той, так и в другой разновидности студента, но он не мешает и не вредит студенту, — он сидит по праву психологической эволюции и уйдет в свой срок, когда это будет психологически возможно и нужно. Но в чем собственно проявляется роль этого „гимназиста в студенте“? В тысяче мелочей душевного обихода и самочувствия, которых не перечтешь и не учтешь... Но ярче всего это выражается в следующем: наука превращается в „предмет преподавания“, в известную

сумму знаний, которую можно выучить или не выучить. Едва-едва мерцает догадка, что ведь науку, собственно говоря, „выучить“ никак нельзя, и что задача университетского преподавания должна сводиться к перевоспитанию мысли, к превращению „натурального“, обывательского мышления в научное. Суть дела—в преобразовании одного, низшего типа мышления в другой, высший, а студент продолжает по-гимназически смотреть на преподавателя— не как на представителя этого высшего типа мысли, а только как на человека, который более или менее основательно выучил „свою науку“ и всегда может на экзамене срезать студента.

Я был студент с заранее готовыми научными интересами и даже с „культурой науки“ и—соответственно—с мечтами о карьере ученого, даже о „славе“, но и во мне гимназическое, конечно, сидело довольно прочно, выражаясь как в тысяче мелочей душевного обихода, которых не перечтешь, так и в напряженном и наивном стремлении—„взять и выучить свою науку“, причем едва-едва мерцала догадка о том, что существует особый тип мышления, именуемый научным или научно-философским, и что недаром в инвентаре высшего мышления значатся такие отделы знания, как логика и методология....

Не знаю, к лучшему ли или к худшему, случилось так, что в мое время в Новороссийском Университете кафедра сравнительного языковедения и санскрита (это и была давно облюбованная мною специальность) пустовала, — и мне пришлось справляться самому, орудуя своей „натуральной“ логикой, еще очень „гимназической“, и минуя всякую методологию. Я с головой погрузился в фактический материал, в грамматики, словари и тексты, и даже не чувствовал интеллектуальной надобности в предварительном или попутном изучении „основных начал“, исходных принципов,— того, что немцы называют „Principienlehre“. Мои сведения в логике были крайне скудны, — с грехом пополам прочитал я только „Логику“ Милля, и, признаюсь, это чтение показалось мне весьма скучным. То ли дело санскритские склонения и спряжения, или „Сравнительная Грамматика“ Боппа, которую я читал запоем, с великим умственным наслаждением, или „Компендиум“ Шлейхера, казавшийся мне недостижимым образцом лингвистической „научности“! От Боппа и Шлейхера я торопился перейти к книгам и статьям

Георга Курциуса, Иог. Шмидта, Фика, Лескина и др. и, не дойдя еще до Бругманна и Остгофа, тогда только что выступавших, вообразил, что „свою науку“, сравнительную грамматику индоевропейских языков, я уже более или менее „знаю“, что и было одним из проявлений гимназической психологии в студенте, готовящемся преобразиться в „молодого ученого“.

Когда весной 1873 года, перенесши тиф, я, по настоянию врачей, решил перевестись из Петербургского Университета в Новороссийский и, готовясь к отъезду, пришел проститься с моим бывшим наставником А. Д. Марсикани, жившим давно уже в Петербурге, то он, между прочим, дал мне следующее напутствие: „вот ты, Митя, едешь в Одессу,—там ты найдешь замечательного ученого В. И. Григоровича, великого чудака и превосходного человека. Передай ему поклон от меня и скажи, что ты мой ученик. Он встретит тебя с распростертыми объятиями. Я хорошо знал его еще в Казани, где он был профессором, а я гимназистом. Я ходил к нему, он засадил меня за славянскую грамматику и тексты и надумал сделать из меня ученого слависта. Но я предпочел медицину... Помню: книги, на полках, на столах, под столами, на диване, под диваном, на полу посреди комнаты, и грузную симпатичнейшую фигуру ученого, который весь ушел в эти книги и говорил о церковно-славянских рукописях, о „Славянских Древностях“ Шафарика, о Вуке Караджиче, о Коларе и т. д. не иначе, как с юношеским увлечением и энтузиазмом. Таковым он остался и до сих пор. В прошлом году он был здесь—на Археологическом съезде и навестил меня. Вспомнили мы старину. Был я на съезде—пошел послушать его речь. Это было нечто неопишемое. Он говорил в ультраприподнятом тоне, с риторическими фигурами, с неожиданными повышениями и понижениями голоса, с визгливыми выкриками и трагическим шопотом. Великие князья, присутствовавшие на собрании, весь ученый синклит и вся публика не выдержали и разразились гомерическим хохотом. Но Виктор Иванович не смутился—и забирал все выше и выше... Он вообще человек особенный, ученый доброго старого времени,—таких теперь уж нет... Вот ты увидишь“...

Устроившись в Одессе, я не замедлил пойти к Григоровичу, передал поклон Марсикани, упомянув о том, что

я его ученик, и объяснив, что хочу посвятить себя изучению сравнительной грамматики индоевропейских языков, и в частности интересуюсь славистикой. В. И. пришел в восторг. „Вот, стало быть, *ужо именно* (его словечки), выходит, что между нами есть, так сказать, *ужо именно*, духовное родство: Марсикани — мой ученик, вы — ученик Марсикани, — вы приходитесь мне, *ужо именно*, как бы внуком. Очень, очень рад. Будете теперь учиться у деда“....

И я стал усердно учиться „у деда“. Если „торжественные речи“ (на университетских актах, на ученых съездах, по случаю приезда именитых гостей и т. д.) В. И. Григорович произносил в нестерпимо-риторическом и смехотворно-приподнятом тоне, то свои лекции он читал совсем просто — тоном задушевной беседы, ясно, отчетливо, в форме вполне доступной начинающим. Охотно приглашал он студентов к себе, в свою холостую, беспорядочную, заваленную книгами квартиру, для чтения текстов и бесед, угощал чаем с вареньем и всякими печениями и очаровывал простотой обращения, радушием и всё тем же юношеским энтузиазмом ученого не от мира сего. Нуждающимся студентам он никогда не отказывал в материальной помощи. Он вообще был бессребренник и счета деньгам не знал.

Его странности и чудачества служили темой веселых разговоров не только в университетской среде, но и в широкой публике. Его все знали. Но особенною популярностью он пользовался среди извозчиков. Обыкновенно он им не платил за „конец“, ибо забывал дома кошелек, либо вовсе не имел денег. Расплата происходила ежемесячно, 20-го, в день выдачи жалования. У подъезда Университета скоплялась вереница извозчицких дрожок. В. И. выходил на крыльцо с пачками кредиток в руках и раздавал — неизвестно по какому рассчету, приговаривая: „вот *это* тебе, а вот *это*, *ужо именно*, тебе, — *это*¹ тебе...“. Извозчики веселой гурьбой окружали профессора и всегда оставались довольны.

Одевался он более чем небрежно. О своей внешности совсем не заботился. Но при этом имел странную привычку — красить волосы (которых на голове было очень мало, больше на висках) и редкие баки на щеках. Усы и бороду он брил. Операцию окраски он проделывал упро-

¹ Он произносил *этот*, *эта*, *это*, вместо этот, эта, это.

щенным способом, просто руками,—и превращался в брюнета с черными мазками на щеках, на лбу, на носу и с вечными пятнами соответственного цвета на пальцах.

Григоровича любили и уважали. В нем ценили *настоящего*, большого ученого и *настоящего*, призванного профессора. Мне пришлось быть его учеником уже на склоне его деятельности. В том же году, когда я окончил курс, он вышел в отставку и через год умер (1877). Расцвет его профессорской деятельности в Одессе относится к 60-м годам, когда он был любимцем студентов и умел очаровывать юные умы и сердца. К числу очарованных принадлежали преимущественно студенты левого фланга, тогдашние „радикалы“, хотя он отнюдь и ни в каком смысле не поддаживался к их мнениям и их настроениям. Его учениками и восторженными почитателями были, между прочим, Г. Е. Афанасьев и С. Н. Южак. Трудно сказать, каких собственно взглядов—в области политики и очередных вопросов общественной жизни того времени—придерживался Григорович. Он неохотно высказывался, а если иной раз и высказывался, то выходило нечто напоминающее Талейрановское изречение, что язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли. В нем была причудливая смесь искренности и скрытности, простодушия и наивного лукавства. Он предпочитал говорить намеками, которые можно было перетолковывать и так, и этак. Одно можно сказать с уверенностью: это был человек, по натуре предрасположенный к либеральному, прогрессивному и просвещенному воззрению на вещи и к гуманному отношению к людям. С тогдашними реакционными течениями он не имел ничего общего, но вместе с тем сторонился и от течений передовых, о представителях которых иногда отзывался скептически и иронически. Такой отзыв, впрочем благодушный, я слышал от него с М. П. Драгоманов и Вл. Б. Антоновиче.

Но было время, когда этот странный человек умел, при случае, дерзать. В мое студенческое время это было нечто, что давно прошло и былшем поросло. В начале 40-х годов Григорович, тогда молодой доцент Казанского Университета, однажды в совете резко протестовал против каких-то ретроградных мероприятий тогдашнего министерства народного просвещения, за что и был лишен кафедры. Не знаю, благодаря каким обстоятельствам с ним обошлись все-таки

довольно мягко и временно прикомандировали к Московскому Университету. В Москве Григорович навел на Герцена, который тогда же записал в „Дневнике“: „был у меня молодой профессор Казанского Университета В. И. Григорович; отрадно видеть в далекой провинции столь просвещенного деятеля науки“.

Настоящим подвигом было путешествие Григоровича (в 40-х гг.) в славянские земли, в особенности в Болгарию и на Афон. Не раз приходилось ему рисковать свободой и даже жизнью. С великими опасностями и трудностями раздобыл он там (легенда гласила: похитил...) драгоценнейшие церковно-славянские глаголические рукописи — Зографское и Мариинское Евангелия, памятники, которые пролили новый свет на фонетику и морфологию церковно-славянского языка и окончательно выяснили, что этот язык возник из македонского наречья древне-болгарского языка. Но вот опять удивительная странность: эти драгоценные документы Григорович сорок лет держал под спудом, в своем заветном портфеле (хорошо помню это „хранилище“) и всячески противился их опубликованию. Он „ревновал“... Оба памятника были изданы (И. В. Ягичем) только после смерти Григоровича. Вспоминаю, как бывало он осторожно и как бы торжественно вынимал рукописи из портфеля и, показывая их нам, студентам, но не позволяя прикасаться руками, говорил: „вот, извольте видеть, *это* *ужо* *именно* мое сокровище“...

На меня Григорович производил впечатление заброшенного и душевно-одинокого. Чувство глубокого уважения и пиетета к нему смешивалось с чувством жалости. Нельзя было, или я не умел, „разговориться“ с ним „по душе“ (да и мой возраст, конечно, мешал), и его душа представлялась мне печально-замкнутой, затаенной. Мне казалось, что это человек, который давно уже пошел на убыль, — „не расцвел и отцвел“, что вся его деятельность столь много в начале обещавшая, по какой-то неведомой причине, или в силу какого-то душевного изъяна, давно уже оказалась на ущербе. И в самом деле, человек огромной эрудиции и, несомненно, незаурядного ученого дарования, широких научных интересов, человек, беззаветно преданный науке, Григорович в сорок лет деятельности сделал, может быть, едва-едва сотую часть того, что мог бы сделать. „Путешествие по Балканскому полуострову“, „Очерк

истории славянских литератур“, ряд брошюр на случайные темы, несколько торжественных речей и докладов на съездах — вот все, что от него осталось и что давно утратило непосредственное значение, сохраняя только историческое. Поразительна скудость его ученой продуктивности, о выступающая при сравнении с работой его сверстников и сподвижников по науке — Срезневского, Бодянского. А между тем невольно навязывалось впечатление, Григорович в сущности талантливее их всех. Что-то шло ему развернуться, что-то затормозило рост его умственной силы, что-то подкосило его энергию, а что — неизвестно. Позволю себе гипотезу: быть может, пережитые на Балканах, оставили роковой след, а приобретения драгоценных рукописей, доселе окутанных тайной, произвела в душе молодого ученого нечто рокового шока, который сразу подкосил душевную энергию и которого последствия неуклонно продолжали оттаивать ее остатки... Как бы то ни было, Григорович пошел в могилу тайну своей души.

Я упомянул славное имя И. В. Ягича. В мое студенческое время он был профессором Новороссийского университета и уже тогда имел заслуженную репутацию блестящего классического ученого. Но Григорович — по своему обычаю — „ревновал“ к нему свою науку и ни за что не хотел предоставить ему возможность читать систематические курсы по славяноведению. И молодой ученый, которому вскоре предстояло стать европейской знаменитостью, принужден был пробаиваться такими лекциями не по своей специальности, как элементарный курс санскритской грамматики или чтение греческих текстов. Я тогда еще не приступал к изучению санскрита и, находясь еще на втором курсе, не мог слушать его лекций по этому предмету, которые он читал для студентов 4-го курса. Но мне пришлось участвовать в занятиях греческим языком под его руководством (помню, читали мы „Memorabilia“ Ксенофонта). Вскоре Ягич перешел в Берлинский Университет, где проявил интенсивную и высоко продуктивную ученую деятельность.

Кафедра греческого языка и греческой словесности долго оставалась вакантной. По поручению факультета, занятия вели — эпизодически — то Ягич, то профессор латинского языка и словесности старик Юргевич (отличный

классик), то доцент Лебедев, недурно знавший греческий язык, но человек совсем неуравновешенный, то, наконец, преподаватель (по найму) истории философии Орбинский, о котором речь будет ниже. Наконец (я был тогда на 3-м курсе) явился молодой профессор, сразу привлёк к себе общее внимание и сочувствие. Это был Леопольд Францович Воеводский, полуполяк, полунемец, томец Петербургского Университета, учёный больша́к, хотя и одностороннего ума и яркого, но, так сказать, прямолинейного дарования. Незадолго до его прибытия я как и с большим интересом проштудировал его диссертацию „Каннибализм в греческих мифах“, вызвавшую тогдашний шум в ученых кругах, а также в общей публике. Между прочим на нее отозвался в „Отечественных записках“ и Н. К. Михайловский, предъявивший автору ряд весьма критических замечаний, но в общем отношении к нему с заметным сочувствием. Уже в этом первом труде Л. Ф. Воеводского ярко обнаружился характерный для него ума и таланта: широта научных интересов, смелость и радикализм ученой мысли и, вместе с тем, односторонность или, вернее, *одноидейность* направления. Воеводский захватывал предмет глубоко и раздвигал его грани, но все это разнообразие материала он освещал и излагал с одной точки зрения, подгоняя все факты к своей теории и не допуская возможности применения двух-трех точек зрения, не признавая ни одного „исключения“. Если отдельные факты сопротивлялись и не хотели подчиниться теории, Воеводский „обрабатывал“ их так основательно, что они наконец, смирялись и волей-неволей подчинялись приказу исследователя. И надо отдать ему справедливость: в такой обработке он обнаруживал необыкновенное остроумие, настоящую виртуозность большого ученых дел мастера. В этой непреклонной последовательности и прямолинейности мысли обнаруживался характерный *математический* строй мышления. Настоящим призванием Воеводского была не филология, а математика. Недаром он, прежде чем стать филологом, учился год или два на математическом факультете. Однажды он мне прямо сказал, что способ его мышления — чисто математический, и что на филологический факультет он перешел увлекшись грандиозным планом — доказать, что и в этой области знания можно и должно стремиться к установлению единой все-

объемлющей теории, под которую подойдут *все* факты, и не будет ни одного исключения. На первых порах однако он ограничился более узкой и скромной задачей—провести ту мысль, что мифология представляет собою отражение пережитков более ранних ступеней развития, что в ней своеобразно воспроизведены явления так называемой дикой или первобытной культуры. И Воеводский проводил эту идею с большим мастерством, но опять-таки с излишней прямолинейностью, не соглашаясь признать, что, помимо пережитков ранних ступеней культуры, в мифологии могут оказаться и продукты более позднего времени и различные отражения той эпохи, к которой относится возникновение или обработка того или иного мифа. Он заранее уговорил себя, что в мифах дано лишь *прошлое* и не позволял проявляться в нем *настоящему*. Оттуда у него и многие натяжки, насилия над фактами, хитроумные перетолкования. Тем не менее книга оказалась замечательной. От нее веяло свежестью, яркостью, силою истинно-ученой мысли, — и она свидетельствовала не только об основательном знании подлежащего материала, но еще и о солидной начитанности в области истории культуры, археологии верований и обрядов, в социологии и наконец в литературе Дарвинизма, перенесенного в сферу человеческой жизни.

Но вскоре молодой исследователь разочаровался: несмотря на все усилия, теория не всё объясняла, и то и дело приходилось ему наткаться на строптивые факты, не подводимые под теорию. Ясное дело: нужно искать другую. По счастью (или, вернее, по несчастью—для Воеводского) за этой другой теорией недалеко было ходить: это была известная „солнечная“ теория мифа, давно уже установленная главным образом Максом Мюллером и в те времена (70-ые годы) порядком-таки набившая оскомину мифологам, исследователям народной словесности, историкам религии, культуры, литературы и другим филологам, на каждом шагу встречавшим факты, ничего общего не имеющие с мифологией солнца и световых явлений вообще. Солнечная теория теряла кредит и шибко пошла на убыль... Воеводский ее подхватил и так развил, так распространил, так разработал, что, я думаю, сам Макс Мюллер, если бы познакомился с новой книгой нашего ученого, был бы повергнут в великое смущение: его любимая теория была

доведена до абсурда. Новая книга Воеводского (докторская диссертация) трактовала о мифологии Одиссеи, — и здесь, по ученому произволению, все превращалось в „солнечный миф“, — и сам Одиссей, и Киклопс, и Телемак, и Пенелопа, и ее женихи... Это была на редкость остроумная ученая игра, и это была вместе с тем совершенно непроизводительная затрата ума, фантазии, эрудиции. — „Да ведь это — просто бред“, сказал мне однажды (несколько лет спустя), по поводу „Мифологии Одиссеи“ покойный Всеволод Федорович Миллер, ученый положительного склада мысли, чуждый фантастики.

Я окончил курс и расстался с Л. Ф. Воеводским еще до его „обращения“ в эту ученую — мифотворческую — „веру“. Когда через шесть лет я вернулся в Одессу, где получил приват-доцентуру, я увидел его в пущем разгаре и, можно сказать, в азарте увлечения этим своего рода ученым спортом. Нельзя было и заикнуться о том, что, мол, „солнечная теория“ имела, конечно, свои права и свою область применения, но что, кроме того, есть множество явлений, неподводимых под нее, к объяснению которых с успехом могут быть применены другие теории. Воеводский и слушать не хотел, никаких возражений не допускал, и даже сердился. Отвергнуть солнечную теорию значило нанести ему личную обиду...

Студентом я занимался у Воеводского текстом Гомера (обе поэмы я около того времени сам, на дому, прочел целиком в подлиннике), — и эти занятия были, разумеется, весьма для меня полезны. К Гомеру он подходил не с эстетической, а с археологической меркой и превосходно выяснял, как много вредит пониманию гомеровского текста чисто-эстетическая критика, затушевывающая все архаическое в нем, т. е. как раз все то, что представляется в нем наиболее важным и научно-ценным. Надо, наоборот, обращать особенное внимание на эти последние черты, часто оскорбляющие наш эстетический вкус, но зато раскрывающие нам подлинную мысль и жизнь отдаленной древности. Этот прием я усвоил от Воеводского и неизменно старался проводить его в моих посильных работах над текстом Риг-Веды и мифологией ведаизма. Бывал я у Воеводского и на дому, и беседы с ним, всегда интересные и живые, не прошли для меня бесследно. Всего менее походил Воеводский на ученую мумию. В науке он был доктори-

нер, но не педант. Это был разносторонне образованный, живой, отзывчивый человек, одаренный остроумием и юмором, очень начитанный в европейских литературах, всего больше в немецкой (он был родом из Остзейского края, и его родным языком был немецкий). В частности он был большой знаток и почитатель Гейне.

Я считаю Л. Ф. Воеводского одним из лучших своих профессоров, о которых вспоминаю с чувством искренней признательности.

Забегая вперед, скажу еще, что в годы моей приват-доцентуры (1883-87) я встречался с ним довольно редко, — он меня не понимал, я перестал его понимать (виною была все та же „солнечная“ теория). Но расстались мы дружески. В последний раз я видал его в Харькове в половине 90-х гг. Он приехал в качестве председателя экзаменационной историко-филологической комиссии. Встретив его в университете, я его не узнал: вместо изящного и молодежавшего человека с темными усиками и бородкой, с красивыми молодыми глазами, предо мною стоял хилый старик с большими седыми усами, с поблекшим взором. Он был в последнем периоде туберкулеза... Но это был всё тот же умница, всё тот же остроумный собеседник и — по прежнему неизменно „проповедник“ солнечной теории, к которой в разговоре обращался кстати и некстати. Однажды он у меня обедал и провел несколько часов, вспоминая былое, свои студенческие годы, своих профессоров, в особенности покойного Люгебиля. Он был весел и остроумен, как-то стоически относясь к своему тяжелому настоящему и к перспективе близкой смерти. — „Представьте себе“, — сказал он, между прочим, — „в прошлом году мне было так плохо, что я совсем уже собрался умирать, как вдруг мне пришло в голову, что ведь мой некролог напишет профессор П., а надгробную речь скажет профессор М., — так я, знаете, раздумал умирать, ну и ожил...“. Скончался он года два спустя.

Одновременно с Воеводским появился в Одессе и Федор Иванович Успенский — историк-византист, из учеников В. И. Ламанского. Он сразу заявил себя как серьезный ученый и как преподаватель, могущий ввести слушателей в круг научных интересов. Я слушал у него — и не без пользы для своего общего развития — курс истории Средних Веков. В те же годы широко развернулась

ученая деятельность Никодима Павловича Кондакова, который, лет десять спустя, приобрел широкую европейскую известность, как превосходный знаток и выдающийся исследователь истории искусства, в частности византийского, и как археолог. В мое время он читал курс истории античного искусства для студентов-классиков. Для меня, как слависта, его лекции не были обязательны, но я от времени до времени посещал их, — бывал и на дому у него, неизменно встречая благожелательное к себе отношение и готовность всячески поддержать, поощрить и направить „на путь истины“ будущего „молодого ученого“. Я очень признателен ему...

Из профессоров старших поколений нельзя не помянуть добрым словом старика Бруна, читавшего, кроме некоторых отделов всеобщей истории, еще особый — излюбленный — курс „истории географических открытий“, где центром научных интересов лектора был вопрос о Геродотовой Скифии, предмет его многолетних кропотливых, изысканий. Брун был немец, почти обрусевший, симпатичнейший представитель типа немецкого ученого „доброе старое время“, вечно юного духом, энтузиаста науки, способного говорить часами с великим одушевлением о каком-нибудь спорном вопросе исторической географии и этнографии Южной России. Он, можно сказать, во сне и на яву бредил геродотовскими скифами. Его лекции мы посещали лениво, прибегая к системе „дежурства“, но к экзамену готовились усердно по запискам, которые он тщательно составлял сам и выдавал нам в определенные сроки, и почти всегда скифы выручали нас. По своему ученому энтузиазму и по своей, так сказать, старомодности, Брун был достойный alter ego Григоровича. И как последний, так и он был предметом более или менее забавных анекдотов и даже легенд. Его манера читать была не лишена комизма. Обладая резким, громким голосом, он, можно сказать, не читал, а „кричал“ лекцию, с азартом жестикулируя. Мы слышали крики и видели руки, мелькавшие перед лицом профессора, забиравшие всё выше и выше и наконец — в патетических местах — производившие отчаянную жестикуляцию над головой. Об этой жестикуляции гласила одна из легенд. Брун был одесский старожил и уже в 40-х г.г. состоял в числе преподава елей Одесского лицея. И вот однажды, в глухое время Нико-

лаевской реакции, когда люди либерально настроенные боялись даже думать либерально, явилось в Одессу некое очень высокопоставленное лицо (чуть ли не кто-то из великих князей) и посетило лицей. На беду очередной лекцией оказалась лекция Бруна, — и грозный посетитель появился в аудитории в сопровождении лицейского начальства. Брун, человек просвещенный и слишком, по тому времени, либерально настроенный, испугался дерзновенности своих мыслей и — от страха — онемел. Он не мог выговорить ни слова и только отчаянно махал руками — привычной жестикуляцией перед носом, перед лбом и выше головы. Высокое лицо изумилось и, минут через пять, ушло. Тогда Брун обратился к присутствующим с тревожным вопросом: „господа, ради Бога, не сказал ли я чего-нибудь лишнего?“ — И услышал ответ: — „Вы ровно ничего не сказали — только махали руками“. Брун впал в отчаяние. Прийдя домой, он сел в ванну и, по примеру древних мудрецов, вскрыл себе жилы. По счастью домашние во время спохватились и спасли его. Так гласила легенда, и, кажется, дело было именно так или почти так. Брун был энтузиастом не только Геродотовой Скифии, но и освободительных идей великой французской революции, которую он романтически, по-старомодному, идеализировал. В юности, — рассказывали, — он побывал в Париже и пешком исходил те местности Франции, с которыми были связаны воспоминания о важнейших событиях революционной эпохи. Было чего профессору лицейя испугаться в тяжелое время Николаевской реакции, когда передовые люди боялись своих мыслей...

Не знаю, насколько значителен был вклад, внесенный в свое время Бруном в разработку вопроса о Геродотовой Скифии, но хорошо знаю, что Брун был на редкость хороший, добрый и благодушный человек. Мой товарищ и приятель Басилов, весьма редко появлявшийся на лекциях Бруна и даже уклонявшийся от „дежурства“, бывал у него на дому и пользовался его расположением (Брун между прочим доставлял ему уроки). И вот однажды, когда Басилов пришел к профессору, последний, в благодушно-сердитом тоне, закричал, жестикулируя: „отчего, Басилов, вы не ходите на мои лекции?“ — „Помилуйте, профессор,“ — отвечал студент, — „я усердно посещаю ваши лекции, вы только меня не видите: я сижу на задней скамье и скрываюсь в толпе!“ — „Как в толпе?“ — закричал Брун, махая

руками над головой: — „какая толпа? Два человека — вот толпа!“ И отпустил коварного студента с миром, вручив ему рекомендацию для получения выгодного урока.

Выше я мельком упомянул о профессоре Орбинском, ведшем изредка, по поручению факультета, занятия греческими текстами. Помнится, он комментировал Эврипида и излагал все пояснения по-латыни, которою владел свободно. Но его специальностью была не классическая филология, а история философии. И в этой области он был великий мастер ясного, отчетливого, изящного изложения, почти всегда *cum grano salis*. Его аудитория всегда была полна, и студенты с напряженным вниманием следили за его всегда умною, часто острою, иногда саркастическою речью. Орбинский не был ученый взком и точном смысле этого слова. Он был широко образованный человек, начитанный, по крайней мере, в трех областях знания (история философии, классическая филология, политическая экономия) и выдающийся общественный деятель, очень уважаемый и ценимый в Одессе. Ему, если не ошибаюсь, принадлежала инициатива основания Коммерческого училища, первым директором которого он и был. В Университете он кафедры не занимал, а читал по вольному найму. В заседаниях факультета его, кажется, побаивались: он был зол на язык и, как говорится, при случае „не спускал“. При генерал-губернаторстве Тотлебена (1879 г.), когда в Одессе свирепствовал белый террор, его устранили от должности директора Коммерческого училища. Тогда город командировал его в Америку для урегулирования дел по экспорту хлеба. Вернувшись оттуда, он издал книжку о ценах на хлеб, очень дельную. Его вклад в историю философии был невелик и, если не ошибаюсь, ограничивался книгою об английских деистах, но как преподаватель он был выше всяких похвал.

Мои воспоминания о профессорах, у которых я учился, остались бы неполными, если бы я обошел профессора по кафедре русской словесности и декана факультета Ивана Степановича Некрасова. Говорить о других профессорах мне было нетрудно, — они легко поддаются общей и, смею думать, правильной характеристике. Вот именно этого то и нельзя сказать о Некрасове. Об этом человеке прочно установилось среди студентов и, повидимому, также в профессорской среде определенное отрицательное мнение,

с которым я уже тогда, да и потом, не соглашался, оставаясь при своем особом. Должен признаться однако, что защищать это свое особое мнение было трудно: И. С. Некрасов делал все, от него зависящее, чтобы о нем думали и отзывались резко-отрицательно. Но я бывал у него на дому, пользовался его указаниями, его библиотекой, подолгу приходилось беседовать с ним, — я имел возможность ближе присмотреться к нему, и я вынес впечатление, далеко не согласное с общераспространенным взглядом на него как на человека и на ученого. Это был, несомненно, человек опустившийся и обленившийся. Читал он кое-как, „спустя рукава“, вяло и сонно. Видно было, что он к лекциям не готовился. Иной раз подалось такое впечатление, как будто он просто не жалеет; что сказать, и с нетерпением ждет звонка. Бывало же совестно за него. Но из частных бесед на дому у него я неизменно выносил впечатление, что это человек значительный, в свое время немало поработавший, еще сохраняющий научные интересы и обнаруживающий, сквозь легкий слой своей лени, признаки некогда живого ума, самостоятельной мысли, чуждый ученого педантизма. Невольно думалось: „а ведь этот человек, если бы только захотел да подготовился, мог бы прочитать живой, интересный курс“. Эта моя догадка, по видимому, и оправдалась несколько позже. По крайней мере, один из моих младших товарищей, слушавший Некрасова после того, как я окончил курс, говорил мне (в 80-х гг.): „представьте, Иван Степанович был неузнаваем, — он нам читал лекции живые, интересные, содержательные, — и оказалось, что он вовсе не „бездарность“, как о нем принято было думать“... — Но потом он опять опустил и стал являть ложный вид „бездарности“. Тем не менее при случае (например на каком-нибудь торжественном заседании) он мог, поработавши, прочесть очень хорошую, даже блестящую речь, как это и случилось на торжестве 50-летней годовщины смерти Пушкина (1887 г.). При более близком знакомстве в этом грузном москвиче духовного происхождения, заплывшем ленью и равнодушием к своей репутации, видна была, что называется, „душа“, и душа хорошая, добрая, умная, но только заваленная хламом и дрызгами жизни, факультетских интриг, советских распрей. По видимому, этот опустившийся человек, по-обломовски равнодушный к своей ученой и профессорской репутации,

не был лишен служебного честолюбия и мечтал о ректорстве, которого и сподобился в 90-х годах, в эпоху пушней — „Деляновской“ — реакции, и, как приходилось слышать (я тогда уже давно покинул Одессу и был профессором в Харькове), эта карьера, сопряженная с угодничеством, окончательно запятнала доброе имя Некрасова, на которое он, по существу своей натуры, имел несомненное право. Мне сдается, что в самом начале своей ученой деятельности Некрасов стал некоторым образом жертвою ученого задора и высокомерия московских знаменитостей, своих профессоров (не то Буслаева, не то Тихонравова, не то С. М. Соловьева, а, может быть, и всех трех вместе, уж, право, не знаю). Диссертацию („Домострой“) милостиво пропустили, но молодого ученого немилосердно обескураживали. Есть два способа обескуражить молодого ученого, пробивающегося к кафедре: 1) не принять диссертации, хотя бы в общем добросовестной и вполне правильной, придравшись к вольным или невольным промахам и дефектам работы, и 2) принять диссертацию, но на диспуте разнести ее в пух, дабы показать свою ученость и блеснуть критической свирепостью, после чего посторонний слушатель невольно думает: „если диссертация так плоха, то почему же ее допустили к защите?“ Не знаю, как прошла защита диссертации у Некрасова в Москве, но только оттуда он явился в Одессу с готовым клеймом „ученой посредственности“, которую „пропустили“ только по доброте души... А в Одессе Некрасов сразу наткнулся на ученое чудачество В. И. Григоровича. Последний почтил И. С. Некрасова высоко-торжественной речью (в факультете или в совете), в которой он напыщенно превозносил заслуги молодого ученого по исследованию русского глагола, в чем И. С. Некрасов абсолютно был неповинен. Оказалось, что Григорович смешал И. С. Некрасова с его однофамильцем Н. П. Некрасовым, который незадолго перед тем выпустил книгу о русском глаголе, живо и задорно написанную и блиставшую парадоксами и оригинальным, хотя и научно-несостоятельным замыслом (не жаловал эту книгу А. А. Потебня). Это смешение двух Некрасовых повергло, разумеется, Ивана Степановича в великое смущение, — вышел скандал, быстро ставший в городе ходким анекдотом, и за И. С. Некрасовым надолго упрочилась кличка „Некрасов — не тот“. В конце концов осталось невыяс-

ненным, в самом ли деле Григорович принял, по ошибке, одного Некрасова за другого, или же он только притворился и намеренно инсценировал злую шутку. Последнее предположение представляется мне вероятнее.

Из всего, что я здесь рассказал об И. С. Некрасове, а равно и из других аналогичных случаев я давно вывел моральное правило, которое и принял не только к сведению, но и к исполнению: не судить и не осуждать ученого, профессора и человека на основании сложившегося о нем предвзятого мнения (в факультете, в совете, в студенческой среде, в публике), которое, за редкими и резкими исключениями, оказывается несогласным с психологической правдой его ума, его душевных задатков, его натуры. Не судите, да не судимы будете!

Перехожу к воспоминаниям о студенчестве. Филологов было мало — на всем факультете едва ли больше 30 человек. Все они, сколько помню, занимались более или менее аккуратно и усердно — в чайнии близкой педагогической карьеры. Некоторые из них обнаруживали серьезные научные интересы, избирая ту или другую специальность. В свой черед они и выдвинулись на избранном поприще, как дельные и знающие преподаватели. Из них укажу на Цветкова (скончавшегося в самом начале своей педагогической деятельности), на Ястребова, на Борзаковского, Шрамкова и — в частности — на Басилова, о котором мельком я упомянул выше, рассказывая о профессоре Бруне.

Гавриил Николаевич Басилов (ныне покойный) был мой ближайший товарищ и друг. Одно время мы даже жили с ним в одной комнате, делиась мыслями, интересами, юношескими увлечениями. Он принадлежал к тому типу, к которому я всегда чувствовал душевную симпатию. Он родился в семье деревенского дьякона, или дьячка, провел детство на вольном воздухе, потом учился в семинарии, откуда и перешел в университет. Он был на историческом отделении и занимался весьма серьезно, интересуясь преимущественно всеобщей историей. На него обратили внимание, и он, если бы пожелал, мог быть оставлен при университете для приготовления к кафедре. Но он имел несомненное педагогическое призвание, а кроме того, человек живой и любящий жизнь, он спешил поскорее перейти от „годов учения“ к действительной жизни; он был из

числа тех, к которым применимо изречение: „и жить торопится и чувствовать спешит“. Он был очень влюбчив, и редкий год проходил у него без романа, более или менее захватывающего.

Нравился он мне прежде всего тем, что был на редкость умен, даровит и жизнерадостен. Всё выходило у него как-то бодро, живо, весело, споро — и студенческие занятия, и разные „похождения“, и юная любовь, и интерес к идеям времени. Его отношение к этим последним мне особенно нравилось: оно было чуждо всякого увлечения, романтизма, одержимости и декламации. По самой натуре своей это был демократ, либерал, прогрессист, но налагать на себя „схиму“ и жить „по программе“ он органически не мог. Он брал жизнь как она есть и не претендовал на роль „реформатора“, революционера, партийного деятеля. Он был, в лучшем смысле слова, человек внепартийный и прежде всего добрый, гуманный и благородный. Мы сошлись сразу, и у нас быстро установились простые и искренние отношения.

Рассказывая о своем детстве, он говорил, что жил тогда жизнью обыкновенного деревенского мальчишки и, между прочим, исполнял обязанность сельского пастуха: „я (говаривал он) был, по Гомеру, „пастырем стад непорочных“ и недурным пастырем“... В семинарии, повидимому, он учился усердно и отлично. Он вынес оттуда довольно отчетливое знание греческого и латинского и, кроме того, настоящую жажду усвоить новые языки, прежде всего французский и немецкий, — и преуспел настолько, что впоследствии, кроме истории, преподавал в гимназиях французский язык — и не без успеха. У Ф. И. Успенского он усердно занимался средними веками и отчасти историей Византии и написал, по источникам и пользуясь немецкой ученой литературой, хорошую студенческую работу о Константине Великом.

Живя вместе с ним, и я заинтересовался этим сюжетом и, отвлекаясь от Боппа и Шлейхера, заглядывал вслед за ним в соответственные немецкие книжки, рекомендованные Ф. И. Успенским. Я старался поддерживать в нем научные интересы и склонял к тому, чтобы он остался при Университете и готовился к кафедре. Но он спешил жить, — взяв место, каникулами съездить в Петербург, в Париж — повидать свет (что и сделал), потом лишний раз влюбиться

и наконец жениться, что также, не откладывая, исполнил и — закружился в жите-бытие провинциального педагога. Мы встречались и позже, по окончании курса в Петербурге, потом в Одессе во время моей приват-доцентуры, изредка переписывались. Я храню лучшие воспоминания о нем.

Студент-славист Цветков, курсом моложе меня, привлекал все мои симпатии умом, большим здравым смыслом, воспитанностью и уравновешенностью души. Мы очень сошлись и иногда к экзамену готовились вместе. Припоминаю один смехотворный случай. Профессор русской истории М. П. Смирнов по поручению факультета читал из года в год курс истории Пруссии, который почему-то был обязателен не только для историков, но и для нас, славистов. Я совсем не интересовался этим предметом, на лекции не ходил и кое-как подготавливался к экзаменам по плохим студенческим записям, которыми нас, славистов, снабжали историки. На последнем курсе, сдав ряд экзаменов, я с великим неудовольствием принялся за историю Пруссии, — это был уже последний искуc. Тот же экзамен предстоял и Цветкову. Мы достали пресловутые „записки“ и приступили к „зубрению“. Но дело подвигалось туго. Мы были переутомлены предыдущими экзаменами и то и дело отвлекались от зубрения разговорами, шутками, сочинением стишков-пародий, наконец, закуской и выпивкой. В запасе оставалось еще два дня. Мы успели ознакомиться с содержанием курса, говоря по совести, не более, как на единицу. Вижу я, что дело плохо, и, осененный неожиданной мыслью, говорю Цветкову: „знаете что? нам осталось еще два дня, а между тем завтра у профессора Смирнова экзамен для историков по курсу русской истории. Все равно, завтра и послезавтра мы будем знать по истории Пруссии немножко больше, чем знаем сейчас, этак на единицу с плюсом. Так пойдем на экзамен завтра, — заявим, что мы уже приготовились, и попросим проэкзаменовать нас“. — „Вы с ума сошли“, — закричал Цветков, — „мы ведь ровно ничего не знаем, а тут все-таки у нас в запасе два дня...“. Но я настаивал и уговорил товарища рискнуть, рассчитывая на снисходительность профессора к студентам-неисторикам, что я знал по опыту прошлых лет. Пошли, заявили, что, мол, уже готовы к экзамену. Профессор согласился на нашу просьбу, сказав только: „вот подождите, я проэкза-

мену сперва своих, а потом будет ваша очередь“. Ждем, трепетно перелистывая записки. Наконец роковой момент наступил. Изю всего курса, билетов двадцать, было два вопроса, которые мы действительно знали: билет № 1, вступление в курс, и билет № последний, заключение курса. Вызывают Цветкова, — он вынимает билет № 1, с торжествующей улыбкой смотрит на меня, сияет и бойко отвечает на пять. Моя очередь... Как-то я вывернусь? Подхожу к столу, беру билет — оказывается № 20 (последний). Бойко отвечаю на пять. Весело и шумно „спрыснули“ мы эту удачу где-то за городом в дружной компании товарищей...

Были у меня добрые знакомые и друзья также среди студентов других факультетов. Упомяну о математике Слешинском, который впоследствии, в 80-х годах одновременно со мной проходил стаж приват-доцентуры. Это был поляк с крепкими польскими тенденциями, но не узк й, не шовинист. Студентом он принадлежал к редкому типу молодого человека строгих нравов, чуждающегося всяких „похождений“, попоек и т. д. Он был девственник и вообще ригорист, иногда спал на голых досках ради умерщвления вожделений плоти; свою жизнь он расположил по строгой программе, так чтобы ни один день не пропадал даром, — и работал серьезно и систематически, как по своей специальности, так и в интересах общего образования. У него собирался кружок столь же или почти столь же серьезных молодых людей, к которому примкнул и я, грешный, — мы вели разговоры на разные отвлеченные темы и читали, помнится, „Логику“ Милля. При всем своем ригоризме Слешинский был, что называется, добрый малый, живой, веселый человек, с душой открытой и светлой. Его очень ценили и любили. Через него я сошелся с семьей Августиновичей, моих дальних родственников (с материнской стороны). Это была очень симпатичная и просвещенная, „культурная“ семья, состоявшая из отца-вдовца и трех сыновей. На их кузине женился, по окончании курса, Слешинский. Один из сыновей оказался моим старинным товарищем по третьему классу Ришельевской гимназии, и мы припоминали, как однажды изю всего класса только мы двое удостоились получить по пятерке за „сочинение“. Он не был студентом и жил в деревне, занимаясь хозяйством и приезжая в город на короткое время зимою. Кроме

хозяйства, он интересовался философией и много читал, справляясь с мудреными вопросами собственным посильным разумением. Это был в те годы совсем редкостный представитель течения, которое возобладаало позже, в 80-х годах: он не сочувствовал ни материализму, ни позитивизму, а интересовался „метафизикой“ и вопросами религиозного сознания. Это был вдумчивый и серьезный человек, вечно ищущий, не лишенный и литературных стремлений, равно как и соответственного таланта. Он умер несколько лет спустя, как и его брат, очень дельный студент-естественник. Оба стали жертвами чахотки.

На юридическом факультете у меня было два старинных приятеля: это были мои товарищи по Симферопольской гимназии Маслянников и Гончаревский, с которыми у меня связано много юношеских веселых воспоминаний. Здесь я остановлюсь только на характеристике Гончаревского, представлявшего собою законченный тип даровитого русского человека, который мог бы выдвинуться и блистать на том или ином поприще, а может быть даже на двух или трех, но не выдвинулся ни на одном и заглох, зарыв в землю все свои таланты. Сын, кажется, мелкого Симферопольского чиновника, он в раннем детстве остался сиротой и своим образованием и всей своей карьерой обязан исключительно самому себе. Мальчик лет 10—11 явился в гимназию и подал инспектору прошение, толково и грамотно написанное. Был, разумеется, принят и стал учиться с большим успехом, проявляя незаурядный ум, быстроту соображения и отличную память. Учится мальчик год-другой, а потом вдруг, ни с того ни с сего бросает гимназию и пропадает неизвестно где. Затем неожиданно вновь появляется, опять превосходно учится, а через год-другой снова исчезает. Наконец с некоторым запозданием оканчивает курс гимназии одновременно со мной. Я поступил в Петербургский университет, а он в Нежинский лицей, тогда еще юридический. Мы переписывались. Между прочим припоминаю его большое — в виде статьи — письмо, превосходно написанное, на тему о неясных юношеских стремлениях к свету и правде, об умственных интересах, какие тогда были у него, о дальнейшем пути в жизни и т. д. Это была элегия в прозе. Красноречивая страница была отведена характеристике товарища, студента-еврея, не по летам серьезного, знающего и высоко-

одаренного юноши, беззаветно преданного какому-то высшему идеалу. Видно было, что еврей произвел на Гончаревского сильное впечатление и повлиял на его шаткую душу облагораживающим образом. Лет 6 или 7 спустя с этим самым евреем я познакомился в Женеве: это был известный русский эмигрант, социалист Аксельрод.

Перейдя из Петербургского университета в Одесский, я встретил здесь Гончаревского, переведшегося из Нежина, и мы возобновили старую дружбу. Сразу же я заметил, что влияние Аксельрода, как внезапно пришло, так внезапно и отошло, оставив, может быть, только легкий след юношеских идеалистических воспоминаний. Гончаревский весь был поглощен вопросами заработка (уроки), занимался факультетскими предметами, повидимому, не очень усердно, больше к экзаменам, которые превосходно выдерживал; кажется, и читал маловато, — вообще опустил. Но по прежнему он был умен, остер, интересен и, как всегда, производил впечатление человека, щедро одаренного разнородными талантами, с которыми он либо не может справиться, либо не знает, что с ними делать. Кроме несомненного литературного таланта (может быть, даже художественно-литературного), он обладал выдающимся даром речи, тонкой, логически-виртуозной, — из него мог бы выйти и яркий писатель-беллетрист или публицист, и выдающийся адвокат. В придачу у него было еще большее сценическое дарование (на ампула серьезных комических ролей, вроде Осипа в „Ревизоре“, Расплюева в „Свадьбе Кречинского“ и т. п.), что он и обнаружил, выступая в любительских спектаклях, еще гимназистом и потом студентом. И все это он забросил. Окончив курс, он избрал другую, более спокойную и скромную карьеру — чиновника и поступил в Петербурге в департамент духовных дел иностранных исповеданий, где долго тянул лямку, пока наконец дослужился до пенсии и чина действительного статского советника. Присматриваясь к нему ближе, я впоследствии (мы встречались в Петербурге) понял, что у этого даровитого человека не доставало трех качеств, необходимых для деятельности, соответствующей дарованию: инициативы, готовности на риск и честолюбия. Взамен того, у него были две страсти, удовлетворяя которые, он думал, что скрашивает будни жизни: страсть к биллиарду, в игре на котором он был великий мастер, и к охоте,

которой от времени до времени он предавался с „поэтическим“ увлечением. По-своему он был счастлив или, по крайней мере, удовлетворен, отрешаясь от соблазнов таланта, получая скромное жалованье чиновника, живя тихо и спокойно изо дня в день... Повидимому, и на службе он не проявлял особых притязаний на карьеру, на видное положение и скромно тянул лямку. От всей его фигуры, от его житья-бытья так и веяло „Петербургской обломовщиной“. И невольно думалось: вот человек, щедро одаренный незаурядными дарами ума и таланта и лишенный таланта их утилизировать. Умница Гончаревский, в возможности крупный писатель или артист, по всем данным выдающийся оратор — и вдруг департамент иностранных исповеданий! При чем тут, спрашивается, департамент иностранных исповеданий?

Столь же по-обломовски „устроил“ он и свою семейную жизнь. Он сперва сошелся с симпатичнейшей и славной девушкой, хористкой оперы. Детей не было. Она скучала и через несколько лет рассталась с ним, а он нашел прибежище в сожитии или в браке с квартирной хозяйкой — и совсем заглох, сохранив до конца и ум и все признаки прирожденной талантливости...

Был еще один круг молодежи, с которым я был связан не только личными и товарищескими отношениями, но и общностью направления тех идей времени, которым и я отдавал свою дань увлечения. Это был круг студентов-украинофилов, входивший в состав Одесской украинской Громады. Личный состав Громады слагался из „старших“ и „младших“. К „старшим“ принадлежали наш „батько“ и лидер Л. А. Смоленский, о котором я уже говорил неоднократно; Алексей Александрович Андриевский, выдающийся педагог и общественный деятель, большой умница и человек широко образованный; Михаил Петрович Боровский; присяжный поверенный Цитович; Михаил Иванович Климович, педагог и потом общественный деятель (мировой судья в 80-х годах); Владимир Григорьевич Малевинский, женатый на моей кузине и мой большой друг. Все они уже давно покойники. Их памяти для меня, как и для многих, незабвенной, я посвящу в другом месте несколько страниц, а теперь речь идет о молодежи. К „младшим“ представителям Громады, тогда студентам университета, принадлежали Евгений

Иванович Борисов, Петр Титович Климович, Дашкович, Феофан Александрович Василевский, Борзаковский и еще два-три человека, с которыми случайно у меня не завязались более близкие отношения. Из всех этих лиц сейчас в живых, кажется, только один — П. Т. Климович, выдающийся общественный деятель (с 90-х годов), министр финансов на Украине (в период Рады), человек последовательного украинского направления. Об остальных (в особенности о Ф. А. Василевском) я поведу речь в другом месте. Здесь же я имею в виду только общую характеристику этого круга.

Это были, как на подбор, умные и даровитые люди, преданные идее возрождения Украины и служившие ей, в меру сил своих, со всею беззаветностью и безоглядностью молодости. В то же время это были простые, добрые, живые люди, чуждые фанатизма и духа кружковщины. В их среде я чувствовал себя превосходно. От других кружков молодежи, с которыми я был связан, они отличались прежде всего тем, что на них лежала, так сказать, печать обреченности: у них на первый план выдвигались не личные интересы, не диплом и карьера, а захватившая их идея и деятельность, с нею сопряженная, по необходимости в значительной мере нелегальная и связанная с возможностью или даже вероятностью тюрьмы и ссылки или же — в лучшем случае — эмиграции. Е. И. Борисов, человек большой души и очень серьезный, выступивший на литературном поприще во второй половине 70-х годов, прошел через стаж тюрьмы, сибирской ссылки и поднадзорного состояния; П. Т. Климович несколько лет провел за границей на положении эмигранта; Ф. А. Василевский, живя в Женеве и Праге, чуть-чуть не превратился в эмигранта. Дашкович, кажется, избежал соответственного искуса; окончив курс по юридическому факультету, он избрал карьеру адвоката (в Киеве) и — на этом поприще — развил замечательную деятельность в качестве самоотверженного, идейного защитника интересов простых людей — рабочих, крестьян, мещан. Из него вышел типичный народный ходатай. А сам он был типичнейший „хохол“, простодушно-искренний, „широкий“ человек, с большим здравым смыслом и с удивительно умным и здоровым жизнеощущением, с непосредственным, инстинктивным тактом в своих отношениях к действительности, и — в при-

дачу — с благодушнейшим украинским юмором. Когда кто-то (чуть ли не сам Л. А. Смоленский) развивал ему, тогда еще новичку, „не тронутому“ искусом идей, мудреную для него систему философских или идеологических понятий, Дашкович, прослушав эту „лекцию“, изрек со вздохом: „я знаю только одно, — що я дурень, и больше ничего“. Почти всегда он говорил по-украински, но не преднамеренно, по принципу, а просто потому, что это в самом деле был его родной язык, у него это выходило просто и естественно. Припоминаю одно из красных слов Л. А. Смоленского: „мы говорим не столько по-малорусски, сколько мало по-русски“. В Громаде обиходным языком, органом речи и мысли, был, конечно, язык обще-русский, — по-украински только *старались* говорить, и было заметно усилие, преднамеренность. У Дашковича украинская речь не нуждалась в старании, в усилении, и когда он говорил на обще-русском языке, этот последний звучал у него совсем по-украински.

Были в Громаде, конечно, и дамы. Елена Самойловна Смоленская, представлявшая элемент критический и сдерживающий, моя кузина Юлия Владимировна Малеванная, Мария Андреевна Егунова с дочерью Соней. Эта Соня, тогда совсем юная (15—16 лет) барышня, ученица Смоленского и Андриевского, обнаруживала большую и — главное — умелую восприимчивость к идеям и настроениям громадского круга. Видно было, что она воспринимает не пассивно, а активно, и что из воспринятого у нее со временем сложится свое собственное, самобытное воззрение. Она хорошо училась, много и с толком читала, чутко наблюдала, и у нее всегда наготове было меткое слово, острое замечание, и совсем не видать было признаков так называемой „женской логики“. Ее незаурядный ум был не женский и не мужской, а просто человеческий. Она была любимица „старших“ и добрый товарищ с „младшими“. За нею не ухаживали, потому что романтических увлечений она была чужда, но у нее было природное, натуральное „кокетство“, свойственное ее женственной натуре и возрасту и задорно искрившееся в красивых темно-карих глазах. В 80-х годах она прошла стаж высших курсов в Киеве, и из нее выработалась выдающаяся работница на поприще педагогической и просветительной деятельности. В 90-х годах она заняла весьма

видное место в ряду передовых общественных деятелей в Киеве и вскоре вышла замуж за К. М. Щербину, ученого математика и блестящего педагога, пользующегося широкой популярностью и глубоким уважением как в русских, так и в украинских кругах, за изъятием только шовинистов и фанатиков „самостийности“. И сейчас оба они, на склоне лет, верные лучшим заветам старого — культурного — украинофильства, свободного от всякого политиканства, являются в то же время достойными представителями общерусской культуры.

В 1874 или 1875 году в Громаде появилось новое лицо. Однажды капитан одного из океанских пароходов Русского Общества Пароходства и Торговли, знакомый Смоленского, сообщил ему следующее. У него на пароходе служит помощником кочегара молодой парень из крестьян Киевской губернии, который обнаруживает большое стремление учиться; в свободные часы усердно читает книжки, какие попадутся, в особенности учебники истории и географии; а кроме того пишет стихи по-украински. Быть может, у него в самом деле окажется поэтический талант и — кто знает? — из него со временем, пожалуй, выйдет поэт, писатель... Так вот, не найдет ли Громада возможным помочь молодому человеку в его стремлениях к просвещению? — Громада нашла возможность. Помощник кочегара был принят в число ее младших членов, на правах ученика и неопита. Его устроили на квартире у кого то из студентов и стали обучать и просвещать. Смоленский преподавал ему историю и географию, Андриевский русский язык и словесность, студенты взяли — кто алгебру и геометрию, кто физику и т. д. Парень оказался и умным, и очень способным. Года через три или четыре он мог уже сдать два экзамена — на домашнего учителя и на учителя народной школы и стал зарабатывать деньги учительским трудом. Столь же успешно шло и его общее развитие. Он много читал и быстро освоился в области литературных направлений, идеологических понятий, политических вопросов, освободительных идей как украинских, так и общерусских. Обнаруживал он и поэтический талант: писал весьма недурные стихи по-украински, которые изредка появлялись в украинских изданиях (в Галиции). Звали его Андрей Михайлович Бирик. В половине 80-х годов он уже пользовался в Одессе репутацией знающего и дель-

ного педагога. Наши добрые отношения, завязавшиеся еще в студенческое время, упрочились в 80-х годах и нерушимо сохранялись и в последующее время.

Вспоминая мое студенческое житье-бытье, я отмечаю задним числом черту, на которую в то время я не обращал внимания,—теперь же она представляется мне не лишенной некоторого психологического интереса. Из всего изложенного в этом отделе читатель мог усмотреть, что я вращался в довольно разнообразных кругах, и что везде я чувствовал себя более или менее на своем месте. Я инстинктивно умел приспособляться, и дух кружковщины был мне совершенно чужд. Но, приспособляясь, я не подлаживался. Приспособление выходило как-то само собою, непреднамеренно,—оно основывалось на несознаваемом и невыраженном, заранее данном предрасположении не считать себя ни выше, ни ниже той или другой среды. Завязывая знакомства и связи с весьма различными людьми, я брал их как они есть, а сам неизменно оставался самим собою, не усваивая их взглядов или манеры смотреть на вещи и не навязывая им своих. При случае я не прочь был высказаться и „воспарить“ (преимущественно в подпитии), но роль „пропагандиста“ или „агитатора“, даже в период моих вящих увлечений идеями (социализма — в 1876-78 гг.) была мне органически чужда. Оттуда — простота и ясность отношений, отсутствие разных недоразумений, столкновений, препирательств, отсюда и неизменно ровные и хорошие взаимоотношения с лицами весьма различными, в том числе и с такими, которых, при большей разборчивости, нельзя было бы отнести к категории „хороших“. Судить и оценивать людей я, конечно, умел, но осуждать в большинстве случаев не мог: не хватало решимости, да и не чувствовал я внутреннего к тому побуждения, бессознательно и безотчетно исходя из мысли, что всякий имеет право оставаться самим собой и не мое дело вмешиваться. Но я наблюдал, я все-таки взвешивал „удельный вес“ человека, я только хранил „про себя“ итоги этих произвольных наблюдений. Я не был моралист, я был только „психолог“. То, что я называю природным „психологизмом“ своей натуры, находило в этих „наблюдениях“ широкое поле для упражнения и развития. Бывало говорили мне: „слушайте, Куликовский, ведь такой-то (имя рек) подлиза и карьерист, да еще лгун,— я удивляюсь, как можете

вы водить компанию с ним...“ — „Видите-ли“, — отвечал я бывало, — „в нем все-таки есть хорошие черты, он добрый малый... А что касается карьеризма и прочего, то это мнение преувеличено, да и самые-то факты не удостоверены. К тому же ведь он может измениться, выправиться: человек есть величина не постоянная, а переменная...“ — „Такой-то другой“ — говорили мне — „человек неразвитой и беспринципный...“ — „Подождем“, — возражал я, — „быть может, он разовьется, да и принципы приобретет...“ — „А вот такой-то (имя рек), так это уж совсем дурак!“ — бывало слышу решительный приговор. Я отвечал, что об уме человека, за вычетом случаев полного идиотизма, очень трудно судить: нередко иной производит впечатление человека весьма недалекого, а потом на поверку оказывается, что он вовсе не глуп; тут легко ошибиться... В итоге таких суждений и споров у меня оседало убеждение, что действительно любой человек в умственном и нравственном отношениях есть некий икс, величина спорная, и что преждевременные категорические суждения о людях почти всегда не соответствуют действительности и часто граничат с вопиющей несправедливостью. И вот на почве наблюдений и рассуждений этого рода у меня выработалось нечто вроде сравнительного метода: — я мысленно сравнивал людей и старался понять, если можно так выразиться, „личную психологическую правду“ человека, которая имеет свои „права“. Вот, например, Л. А. Смоленский негодует и протестует, являя вид „воплощенной укоризны“, а вот, например, профессор А. Ф. Воеводский этого вида не являет, да и вообще ему чужд дух протеста и негодования. А ведь он, бесспорно, очень хороший человек, достойный всякого уважения. Если первый имеет право негодовать, то второй имеет право — не питать негодования. *Sum cuique*. И личная душевная правда одного не должна быть основанием для того, чтобы личную душевную правду другого признавать неправдой. Сравнивая, я только склонялся к мысли, что у Смоленского есть некий плюс, которого нет у Воеводского. Мне, по-гимназически или по-студенчески, душевная правда Смоленского казалась правдою высшего порядка, но я не отрицал и личной правды Воеводского. Этого рода мысли закружились в моей голове, когда Смоленский рассказал мне о своей беседе с профессором Н. П. Кондаковым. Последний обра-

тился к нему, конечно заручившись согласием видной части факультета, с предложением приват-доцентуры по русской истории — с тем, чтобы через год или два Смоленский представил диссертацию (над которой он давно работал), после чего ему будет обеспечена кафедра, освободившаяся за смертью профессора Смирнова. Магистерский экзамен Смоленский давно уже выдержал и притом блестяще. Кондаков знал, что Смоленский — упорный крайнофил и человек крайних мнений, на плохом счету у начальства, лишенный права преподавать в казенных гимназиях. В глазах Кондакова и его коллег это был, конечно, большой минус, но он знал также, что Смоленский человек очень знающий и очень даровитый, большой умница, настоящий, призванный ученый, который явится украшением факультета, и вознесет, наконец, кафедру русской истории на должную высоту. И вот произошло собеседование, окончившееся тем, что Смоленский наотрез отказался. Он резко подчеркнул свои крайние взгляды, свою политическую непримиримость, свое неумение лавировать, диссимулировать, прикидываться „благонамеренным“. — „Я ничего не имею“, — говорил он, — „против тех хитроумных Одиссеев, которым это удастся, но сам-то я к числу хитроумных Одиссеев не принадлежу...“ Кондаков продолжал настаивать и уговаривать, но Смоленский остался непреклонен. Несколько времени спустя я, при случае, спросил Кондакова об этом предположении завербовать Смоленского и сказал, что это была бы для университета настоящая находка. — „К сожалению, он наотрез отказался“, — ответил Никодим Павлович, — „ничего не поделаешь, вот теперь придется выбрать какую-нибудь бездарность. Умница он на редкость и человек очень даровитый, но сумасшедший... Чего, чего только не наговорил он мне!“... И я мысленно подвел итог: Смоленский полностью выявил свою душевную правду, Кондаков обнаружил свою, — и оба правы, каждый по-своему...

Но меня в ту пору особенно привлекала душевная правда Смоленского и таких, как он, и мне хотелось войти в широкий круг лиц оппозиционно-настроенных, радикалов, социалистов. С тяготением в эту сторону, с некоторым запасом слагающихся „революционных“ идей и с запасом вышеизложенных „психологических наблюдений“ и выводов из них, в чем, конечно, было немало, если уже не

по-гимназически, то все еще по-студенчески наивного и незрелого, я, окончив курс, отправился в Петербург — с двойною целью: заниматься у профессора И. П. Минаева санскритом и сравнительной грамматикой и войти в круг петербургских „радикалов“, дабы приобщиться так или иначе к властным идеям времени и к посильной для меня „должности“, с ними сопряженной. Помнится, А. Ф. Воеводский дал мне рекомендательную карточку к профессору Оресту Федоровичу Миллеру, личностью которого я очень интересовался, а кто-то из Одесских „радикалов“ (чуть ли не Н. И. Драго) снабдил меня конспиративною запискою к двум студентам-технологам. Это были Александр Иванович Венцовский и Эразм Александрович Кобылянский. И я двинулся в путь...

IV

В ПЕТЕРБУРГЕ, ЗА ГРАНИЦЕЙ И В ОДЕССЕ

(1876—1887 гг.)

1

В ПЕТЕРБУРГЕ

Я приехал в Петербург осенью 1876 года и поступил вольнослушающим на филологический факультет, рассчитывая прослушать курс сравнительной грамматики индоевропейских языков и подвинуть вперед изучение санскрита, которым в Одессе я занимался сам по учебнику Макса Мюллера; а в чтении санскритских текстов был тогда совсем новичек. Мои расчеты не оправдались. Профессор И. П. Минаев, выдающийся санскритолог и — шире — индианист с европейским именем, в тот год не читал на филологическом факультете ни курса сравнительной грамматики, ни курса санскритской; он читал „введение“ в сравнительное языкознание, излагая содержание работ Вильгельма Гумбольдта, Штейнталя, Макса Мюллера, Лазаря Гейгера и др., которые отчасти уже были мне известны. Я прослушал несколько лекций, они показались мне неинтересными. Известно, что эта область знания — общее языковедение, философия и психология языка и мышления — не входила в круг ученых интересов нашего знаменитого ориенталиста, да и сама сравнительная грамматика не была предметом его ученых изысканий. Однажды после лекции я обратился к нему с заявлением о своих пожеланиях. Он предложил мне приходить раз в неделю к нему на дом для чтения санскритских текстов. Я пошел, — он принял меня радушно, расспрашивал о моих занятиях, об Одесских профессорах и слегка проэкзаменовал меня

по санскриту. Оказалось, что кое-что я знаю и, с грехом пополам, могу разбираться в легких текстах. Но занятия как-то не налаживались. Я был тогда в пущем разгаре своего „радикализма“, и много времени у меня уходило на разговоры и споры в „кружках“, в какие я вошел через Венцковского и Кобылянского. У них, между прочим, познакомился я с Богданом Афанасьевичем Марковичем, сыном Марко-Вовчка. Это был в полном смысле слова красавец. Умный, хорошо образованный, живой, бойкий, он производил чарующее впечатление. Ради сближения с народом, он поступил на фабрику, где работал как простой рабочий. Он очень увлекался социалистическими идеями того времени в их несколько утопической и сентиментальной форме, как увлекалось ими большинство радикальной молодежи. Но из моих новых знакомых в этой среде всего больше привлекал мои симпатии Александр Иванович Венцковский. Мы с ним как-то сразу сошлись. Умом и натурой он напоминал мне Басилова, с тою лишь разницею, что последний революционной идеей не увлекался и только принимал ее „к сведению“, в то время как Венцковский очень был захвачен ею и готовился принять ее не только „к сведению“, но и к посильному „исполнению“. Это совпало и с моим тогдашним настроением. Очень понравилась ему моя мысль о том, что социалистическую идею следует свести с неба на землю и обосновать на национальной почве, в Великороссии — на великорусской, в Украине — на украинской, в Польше — на польской, что в будущем предстоит некий синтез передовых идей и идеалов века с национальными движениями разных народов, в том числе и славянских. Человечество идет не к национальному обезличению, а к всестороннему развитию национального духа на почве общего культурного и умственного развития. . . Венцковский был социалист (по-тогдашнему), но прежде всего он был поляк, польский патриот, — из числа тех однако, которые не только не чуждались всего русского, но и стремились связать польскую освободительную идею с русской и шли об руку с передовыми кругами нашего общества.

Вскоре открылся мне еще один путь в среду радикальной молодежи. Я встретил знакомую Симферопольскую барышню, красавицу Ф. В. Симферополе у нее было много поклонников, но сама она оставалась чужда романическим

увлечениям, увлекаясь Писаревым и стремясь к деятельности в духе того времени. Умная, живая, интересная, она привлекала всеобщее внимание и сочувствие. В числе проявлявших это сочувствие был и я, но ухаживать за нею я и не помышлял (да и вообще не умел ухаживать); к тому же мое сердце было тогда (в Симферополе) занято другою. Теперь в Петербурге мы возобновили знакомство. Она стояла в центре большого кружка молодежи, к которой присоединились и некоторые лица старого поколения, как например известный радикальный деятель того времени присяжный поверенный Ольхин. Я стал бывать у нее, и у нас завязались отношения дружеские и товарищеские. Она мне, конечно, очень нравилась, но мне и в голову не приходило, как не приходило и ей, что со временем она станет моей женою. Однако, волею судеб, это совершилось два года спустя, в 1878 году, когда мы встретились за границей.

Вращаясь в радикальных кругах, штудировав Маркса, Лассалья, Чернышевского и др., я в то время усердно занимался еще одним предметом, работая в Публичной Библиотеке: это было изучение русского раскола и сект, — предмет, которым тогда живо интересовались многие. Собрал я довольно значительный материал, прочел много книг и статей (Щапов, Мельников, Никольский, Реутский, Есипов и т. д.), и у меня выработался в этой области свой „взгляд и нечто“, о чем я при случае с некоторым подъемом распространялся в кружках. И вот однажды мне предложили прочитать ряд лекций или рефератов на эту тему. Я охотно согласился. Чтения происходили, разумеется, „конспиративно“, на частных квартирах, при закрытых дверях, а в числе моих слушателей было немало лиц „нелегальных“. Собиралось душ 30-40. Прочел я раз, прочел другой, третий, — лекции понравились и заинтересовали многих, спрос на них возрастал, как вдруг случился казус, который мог окончиться довольно печально. Дворник донес полиции о незаконном сборище в такой-то квартире. У меня произвели обыск, ничего преступного не нашли, но всетаки вызвали в III Отделение для объяснений по делу. Прежде чем пойти туда, я забежал к Ф., которая также интересовалась моими лекциями и принимала участие в их организации. Мы стали придумывать, как выйти из затруднительного положения и что отвечать на вопросы, ка-

кие несомненно будут предложены мне. Меня, конечно, спросят: кто именно был на вашей лекции? Мы с Ф. решили, что я отвечу так: не знаю, всё это были лица мне незнакомые. Затем меня спросят: как же вы собрали эту незнакомую компанию? кто предложил вам читать лекции? Я отвечу указанием на двух лиц, совершенно легальных, ни в чем не заподозренных студентов университета, с которыми я будто бы познакомился в университете, разговаривая на тему о моих занятиях расколом и сектами, а они попросили меня поделиться моими сведениями и выводами с теми, кто интересуется этим предметом. Я согласился, а они просто объявили в университетской „курилке“, что такой-то прочтет реферат о расколе и сектах, и желающие могут явиться в назначенный день на квартиру учителя гимназии Кирпатенка, любезно уступленную им на сей вечер для означенной цели. Явилось душ 20-30, всё незнакомых. Далее я заявил, что лекция была чисто-научная и к политике никакого отношения не имела. Ф. помчалась к тем двум легальным студентам, чтобы предупредить их, а я направился в III Отделение. Учитель Кирпатенко, владелец квартиры, был также заблаговременно предупрежден. Все вышло гладко, без малейшего противоречия между показаниями. Меня допрашивал некий жандармский полковник, довольно снисходительный, и некий товарищ прокурора, который, как я узнал несколько лет спустя, был весьма расположен упечь меня в Сибирь. После допроса мне предложили написать все, что я изложил устно, и удалились. Я остался один и стал писать... Писал я обдуманно, осторожно, спокойно, и изложил все дело, как следовало, по условленному плану. Но тут я вдруг почувствовал неожиданный прилив каких-то бурных эмоций — негодования, возмущения, отвращения; во мне, более или менее солидном молодом человеке, кандидате университета, нежданно пробудился юнец, студент, даже гимназист. И, в приливе острых чувств, как бы в состоянии аффекта, я к изложенному приписал следующего рода глупость:

„Ничего преступного я не совершил, но если меня за невинную лекцию постигнет кара, то я этого не боюсь: лучше изнывать в тюрьме и ссылке, чем жить на воле среди жандармов и шпионов“...

Написал и подписал. Прочитав мое писание, жандармский полковник сказал с улыбкой: „Будьте спокойны, за

лекцию вам ничего не будет, но вот за эти последние — заключительные — строки вы можете серьезно поплатиться. Я советую вам переписать показание, выбросив финал“. Товарищ прокурора загадочно молчал. Подумав, я сказал: „нет, пусть уж этот финал останется, — мне все равно“. — „Поймите же,“ — продолжает жандармский полковник, — „ведь ваше дело пустяжное, но вот эти последние строки вас погубят“. Я задумался. Товарищ прокурора все молчал. Наконец я сказал: „Ну, хорошо, я перепишу“. Они вышли. Я переписал, опустив опасное заключение. Но гимназист, во мне воскресший, стусеваться ни за что не хотел, в силу чего свое первое показание я не уничтожил и не унес с собой, а только разорвал пополам и оставил на столе оба экземпляра: выбирайте, мол, из них, какой хотите, — мне все равно... И ушел. Дело окончилось благополучно: ни меня, ни кого другого не присудили. Все хорошо, что хорошо кончается...

Лет семь спустя, когда из Одессы я приехал по некоторым делам в Петербург и навестил своего старинного приятеля К. И. М-ва, бывшего секретаря моего отца (о нем была речь во второй главе), К. И. М-в сказал мне, между прочим, следующее: „А помните, Митя, какую глупость вы учинили в 1876 году, когда вас допрашивали в III Отделении? Вы в то время в пылу высоких стремлений, как будто сторонились меня, обыкновенного смертного, а вот теперь я могу доложить вам, что вам угрожала весьма серьезная опасность, избавлением от которой вы обязаны главным образом мне. Товарищ прокурора, который вас допрашивал, упорно настаивал на том, что вас следует упечь в места более или менее отдаленные. Я был знаком с ним и вступился за вас. Много красноречия истратил я, объясняя ему, что я знаю вас чуть ли не с детства, что вы человек науки, а не революционер, и никакой опасности Российскому государству с вашей стороны не угрожает, что, наконец, я готов головой поручиться за вас. Насилу уговорил, — и дело замяли“... Я от души поблагодарил К. И-ча.

После этого казуса из предосторожности я на некоторое время прекратил чтение лекций о расколе и сектах тем более, что время было тревожное: после известной демонстрации на Казанской площади, где выступал тогда совсем юный Г. В. Плеханов, и где весьма энергично дей-

ствовал боксом, сражаясь с городовыми, Б. А. Маркович, по всему городу шли обыски и аресты. Но примерно через месяц или полтора чтения возобновились, — моя аудитория пополнилась новыми слушателями, преимущественно из числа нелегальных.

Круг моих знакомств и связей с радикальной средой расширился, и я все более и более входил во вкус этого рода „деятельности“; меня пленяло, так сказать, ощущение относительной ее нелегальности и опасности, равно как и сознание, что вот, мол, и я также „социалист“, вношу свою лепту в общее дело борьбы с существующим порядком вещей.

Я преисполнился чувством великого пиетета к героям и, в особенности, героиням „хождения в народ“, — имена Лидии Фигнер, Софьи Бардиной и других (из процесса 50-ти) были в моих глазах, как и в глазах многих, окружены особым ореолом. Стихи (кажется, Ольхина или Боровиковского), посвященные Л. Фигнер, речь и стихи Бардиной я знал наизусть и не упускал случая пускать их в ход, как орудие „пропаганды“. Мне было отрадно сознавать себя частицею в огромной, как мне казалось, среде оппозиционно-настроенного общества, где на каждом шагу встречал я лиц, которых никак нельзя было упрекнуть в односторонности, узкости, в духе кружковщины, в „революционном изуверстве“.

Но и такие, конечно, попадались на моем пути, но я как-то инстинктивно сторонился от них и хотел думать, что они составляют лишь незначительное меньшинство. Не нравились мне бесконечные споры о том, что собственно надлежит делать, — „пропагандировать“ или „агитировать“, — споры о революционной тактике, о приемах борьбы, вся эта казуистика революционной схоластики. Не привлекал моих симпатий, например, Юзов-Каблиц, начетчик и спорщик, доказывавший необходимость активных выступлений. Он же был одним из организаторов Казанской демонстрации, а сам только смотрел на нее на приличном расстоянии, щадя себя („не для себя, а для дела“), в то время как Плеханов говорил речь, а Маркович действовал кулаками. Большую антипатию вызывала во мне программа „бунтарей“, тогда еще не переходивших от слов к делу, которое, к сожалению, не замедлило в скорости воспоследовать (например, пресловутое „Чиги-

ринское восстание“, затеянное Стефановичем и Дейчем). С другой стороны и правоверные „лавристы“, органом которых был журнал „Вперед“, с их проповедью затаенной и планомерной, якобы „научной“, пропаганды социализма по деревням для подготовки грядущей „социальной революции“, представлялись мне настоящими утопистами, одержимыми идеей, близкой к абсурду.

У меня самого, разумеется, и в помине не было определенной политической программы, а было только увлечение идеалом социализма, — перспективою его чаемого осуществления в более или менее отдаленном будущем, независимо от всех этих затей „пропаганды“, „агитации“, „бунтарства“, которые казались мне „покушением с негодными средствами“, и еще было глубокое преклонение перед героизмом таких, как Фигнер, Бардина, Субботина и многие другие, — героизмом, который сам по себе являлся, в моих глазах, великой моральной ценностью, оздоравливающею затхлую общественную атмосферу. И наконец было у меня душевное тяготение к широкому кругу лиц, не мирившихся с существующим порядком вещей.

И, движимый этими, на добрую долю инстинктивными, влечениями, симпатиями и антипатиями, я вращался в радикальных кругах, как в своей родной стихии, и, не спеша, подвигался вперед — к выработке более определенных и более осмысленных политических воззрений, чего, до известной степени, мне удалось достичь года три-четыре спустя, уже за границей.

Весной 1877 года я вернулся домой, в Каховку, а летом поехал в Одессу для улажения моих отношений к университету. По постановлению факультета, я был оставлен при университете и командирован за границу на три года (на свои средства) для приготовления к кафедре сравнительного языкознания и санскрита.

Не теряя времени, я двинулся в путь и на первое время поселился в Праге, предполагая год-другой посвятить изучению славянской филологии.

До Жмеринки мне пришлось ехать в весьма приятном обществе М. Егуновой и ее дочери Софьи Николаевны (Щербины). Софья Николаевна была неистощима в бойких шутках. В мою записную книжку она вписала стихотворе-

ние, посвященное мне, экспромптом сочиненное, а я в ее записной книжке написал следующее о себе:

Ad se ipsum

Изучай ты Боппа,
Не страшася Кнюппа ¹,
Изучай ты Потта
До седьмого пота —
И Штейнталя изучай,
Добродетельный Митяй.

2

ЗА ГРАНИЦЕЙ

Перехожу к беглому очерку моих отношений к некоторым представителям той среды, в которой я по преимуществу вращался за границей. Это была среда русских эмигрантов и других лиц, не принадлежавших к числу эмигрантов, но близких к ним по общности политических стремлений, симпатий и антипатий. В Праге у меня было очень мало знакомых, всего человек 5-6. Из них я останавлиюсь на характеристике моего товарища по университету и по Одесской Громаде Феофана Александровича Василевского. В 1876 году, увлекшись Герцеговинским восстанием, он бросил университет и отправился добровольцем „на поле брани“. Проделал он однако лишь часть кампании и в 1877 году, охладев к этому делу, поехал в Женеву, к Драгоманову, чтобы принять посильное участие в издании сборников „Громады“ и вообще в украинской пропаганде за границей. Я встретился с ним у Драгоманова в июле 1877 года, а месяца через два-три он приехал ко мне в Прагу, и мы поселились на одной квартире, дабы совместно работать в избранном направлении. Между прочим мы затеяли перевести на украинский язык брошюру Шефле о социализме. В это же время я решил, что пора мне наконец выступить на давно манившее меня литературное поприще. И я написал две статьи, — одну по лингвистике (изложение теорий Лазаря Гейгера), другую — о средневековых сектах хатаров и альбигойцев (под заглавием „Культурные пионеры“), и обе появились в журнале „Слово“, издававшемся в Петербурге под редакцией

¹ Жандармский полковник в Одессе.

Д. А. Коробчевского и Гольдсмита (март и апрель 1878 г.). С Василевским установились у меня добрые товарищеские и приятельские отношения. Доступный влиянию властных идей и увлечений времени, он умел относиться к ним с разбором и критикой. Он отличался положительным складом ума, большим здравым смыслом; всякий утопизм и романтизм были чужды ему. Так называемые „малые дела“, если только они давали возможность принести осязательную пользу народу, он предпочитал большим революционным замыслам, казавшимся ему занятием сомнительным и непрактическим. К „хождению в народ“ с проповедью социализма или с „бунтарскими замыслами“ он относился резко отрицательно, как и я, но сам, вернувшись в Россию в 1879 г., по-своему „пошел в народ“, взяв место сельского писаря, ради сближения с мужиком и в чаянии принести ему существенную пользу в его повседневных делах и потребностях. И я склонен думать, что такую пользу он действительно оказал. Разумеется, он не мог тянуть эту лямку более или менее долго. Человек он был серьезный, но мне кажется, определенной программы он все таки не выработал и охладел, не поладив с народом на почве реальных отношений, как хуторянин. В 80-х годах, женившись, он устроился в Херсоне на земской службе, в качестве статистика. В эти годы я встречался с ним лишь изредка, когда он приезжал в Одессу. А позже, в 90-х годах и в начале 900-х, я мельком заметил, что он значительно поправел. Повидимому, фанатическое сепаратистское и революционное мировоззрение, возобладавшее в эту эпоху в молодом украинском обществе, вызывало, с его стороны, решительное осуждение. Он не поладил ни с представителями старого, ни с представителями молодого поколения и остался одинок. Впоследствии он застрелился. Причины, как и ближайший повод самоубийства, остались мне неизвестны. Этот трагический исход решительно не вяжется с душевным обликом Василевского. Это был, по натуре, человек живой, бодрый, веселый, жизнерадостный, к тому же деловой и очень работоспособный. Я близко знал его и никогда не замечал в нем ни малейших признаков предрасположения к унынию, к разочарованности, к *taedium vitae*...

В Париже я вращался в кругу лиц, группировавшихся вокруг П. Л. Лаврова. О нем я говорю подробно въ

В главе этих мемуаров. Перейду к воспоминаниям о других лицах. В первую же очередь следует вспомнить о Германе Александровиче Лопатине, который уже тогда (1878 г.) был революционной знаменитостью. За ним числился ряд смелых, можно сказать — удалых революционных оказательств, в том числе почти сказочное похищение Лаврова и вывоз его из русской ссылки в Париж. Петр Лаврович трогательно любил Лопатина и последний отвечал ему тем же чувством.

Лопатин, сколько могу судить, не принадлежал к числу „крайних“ и (в отношении к России) держался на платформе политической свободы и конституции, а не на идеологии грядущего „социального переворота“. Он не был ни „пропагандист“, ни „агитатор“, ни „бунтарь“, но, по самой натуре своей расположенный к активному протесту и к революционной удали, он не мог уместиться в рамки мирной, легальной деятельности. Это уже не был юноша, жаждущий подвигов, это был здравый человек, уверенный в себе, спокойный, разумный и жизнерадостный, выжидающий случая нанести более или менее чувствительный удар существующему порядку вещей. В 1879 году он и отправился в Россию для соответственной деятельности, воспользовавшись легальным паспортом некоего Вороновича, бывшего судебного следователя, который за какие-то проказы был исключен со службы и проживал в Париже, как человек якобы независимый, со средствами, сочувствующий революционерам. Воронович обнаруживал радушие, гостеприимство, готовность помочь и делал вид, что революционными идеями и делами, как таковыми, совсем не интересуется. Мне лично оказал он услугу тем, что был шафером на моей свадьбе (нужен был, конечно, человек легальный, а таковых в Париже осенью 1878 г. среди моих знакомых почти не было). В благодарность я преподнес ему экземпляр своей брошюры „Записки южно-русского социалиста“. Так вот этот-то Воронович оказался шпионом, что и обнаружилось, когда Лопатина арестовали на границе и препроводили в Петербург для следствия и суда, причем туда же был вызван для очной ставки и Воронович. Дальнейшая тревожная жизнь Лопатина достаточно известна из „летописей“ русской революции, ссылки и тюрьмы.

Осенью и зимою 1878-79 года мы довольно часто

встречались с ним, и он сразу очаровал меня умом, веселостью, остроумием и простотой обращения — без тени нетерпимости и того высокомерия или „генеральства“, какому, к сожалению, не были чужды некоторые из выдающихся деятелей русского революционного движения того времени („генералы-от-революции“, как бывало величал их М. П. Драгоманов).

Мое знакомство с Г. А. Лопатиным возобновилось 26 лет спустя, когда он был выпущен из узилища Шлиссельбургской крепости. Бодрый старик, с молодой душой, все тот же умница, он по-прежнему производил обаятельное впечатление. В это же время (1906-07 гг.) я близко сошелся и подружился с другим „шлиссельбуржцем“ — Николаем Александровичем Морозовым, с которым в былое время в Париже я виделся лишь один раз (в 1891 г.), когда он, перед роковым для него возвращением в Россию, зашел ко мне с письмом от общего приятеля. Он знал обо мне, я знал о нем, и взаимные симпатии уже тогда проявлялись у нас. Он мне чрезвычайно понравился и незаурядным умом, и кристальной ясностью прекрасной души, и манерой обращения, и всем своим обликом. Видный участник революционного движения — в частности партии „Народной Воли“, — он не являл и тени кружковой заносчивости и революционного генеральства. Таким же остался он и на склоне лет, когда всюду, где он выступал публично, его восторженно приветствовали люди всех званий и состояний, и когда он развил выдающуюся литературную и научную деятельность. Есть на свете много людей добрых, искренних, чистых сердцем. Но далеко не так много таких, из души которых снопами излучается ее свет, ее жар, ее высокая моральная красота, так что всякий входящий в общение с ними подпадает под действие этих лучей, невольно становится лучше, добрее, гуманнее, чище. Натуры этого — высшего — порядка действуют на окружающую среду воспитывающим и облагораживающим образом, сами того не замечая и не прилагая никаких усилий. Многие из „шлиссельбуржцев“ принадлежали к этому, я бы сказал, „лучистому“ типу высоко-моральных натур. Н. А. Морозов, яркий его представитель, выделялся некоторыми индивидуальными особенностями: непосредственностью, наивностью душевного проявления, законченной цельностью прекрасной природы, свежестью вечно юного духа,

не доступного ни омрачению, ни ожесточению, ни разлагающему действию хлама и сора будней. Этого — особого — рода люди убеждены, что мир прекрасен. Это верно постольку, поскольку он оказывается способным порождать таких, как они.

К тому же типу, лишь с другими индивидуальными качествами ума и натуры, принадлежал и Николай Васильевич Чайковский, которого впервые узнал я в 1879 г. в Париже, куда он прибыл из Америки после неудачного опыта сектантско-утопической деятельности. Я хорошо помню его, каким он был тогда. Он уже пережил и преодолел увлечения своей юности и от мечтательного сектантства переходил к заданиям рациональной политической деятельности. В Лондоне, куда он переселился из Парижа и где прожил лет двадцать пять, он приобщился к духу английской национальной психологии, к культуре свободы и к планомерной, разумной идейно-практической постановке задач борьбы за лучшее будущее. Его деятельность по возвращении в Россию в 1905 г. и в особенности после переворота 1917 года достаточно известна.

Его давнишний товарищ и частью сподвижник (только не по сектантству), мой товарищ по гимназии (классом старше меня) Николай Петрович Цакни принадлежал к числу тех деятелей, которые по самой натуре своей предрасположены не к мечтательному или утопическому, а к рациональному, идейно-критическому отношению к вопросам времени. По крови грек (родом из Балаклавы), а по национальности совершенно русский (по-гречески он даже и не говорил), он принадлежал к многолюдному на юге России, в частности в Крыму, классу обрусевших инородцев, по внешнему облику (антропологически) типичных греков, армян, евреев, караимов и т. д., а по духу, по национальному приурочению тяготеющих к России, как целому, и любящих свое русское отечество не за страх, а за совесть. Я замечал, что из таких инородцев крайне редко выходят люди, увлекающиеся узким, местным, областным патриотизмом. Их можно сказать, так и тянет на широкий простор „всяя Руси“. У меня во все периоды моей жизни было много друзей и знакомых с такими показательными фамилиями, как например: Тригони (известный, весьма заслуженный „народоволец“), Дракопуло, Мартинò, Ревельоти, Гераклиди, Розенштейн, Финкельштейн, Лейбович и т. д.,

и все они были, по языку, образованию и национальному тяготению, прежде всего — русские. Конечно, у обрусевших инородцев в русской национальной психике, ими усвоенной вместе с языком, так или иначе проявляются и некоторые элементы или предрасположения, внушенные „голосом крови“, происхождением, „расовой памятью“. Эти элементы бывают весьма различны, но, сколько я мог заметить, в их ряду первенствующую роль играет тот, который можно определить так: отсутствие принципов психологической обломовщины. Возможны, конечно, отдельные (очень редкие) случаи заражения обрусевшего инородца этой все-российской болезнью. Обломовщина у нас — черта национальная, исторически-данная, но ее присутствие в русской национальной психике того или другого лица необязательно. На каждом шагу встречаются коренные русские люди, не проявляющие ее сколько-нибудь заметных признаков. В числе таковых имеется и тот, который определяется метким словом Пушкина: „мы ленивы и не любопытны“. Есть однако весьма много коренных русских, которые не ленивы и „любопытны“. Так вот об инородцах, воспривших русскую национальную психику, я скажу, что они, в подавляющем большинстве, оказываются очень „любопытными“ и далеко не „ленивыми“. Главным предметом их „любопытства“ является Россия в ее целом, в особенности же русская духовная культура, — наша литература, наши направления, идеологии, партии, да и вся неразбериха наших внутренних дел и отношений. Все это притягивает их, как магнит — железо, как огонь — бабочку. Сколько инородческих имен занесено в летописи нашего просвещения, литературы, тюрьмы, ссылки и каторги!

В первой половине 70-х годов за участие в революционном движении Цакни был административно сослан в Архангельскую губернию, откуда в 1877 году бежал за границу на английском пароходе. Мы встретились в Париже, как старые друзья и единомышленники. Он всегда мне очень нравился складом ума, здорового и трезвого, уравновешенностью и бодрой жизнерадостностью натуры. Нравился он мне и как умный, хорошо образованный и интересный собеседник. Устроившись в Париже с семьей, он занялся литературным трудом: корреспондировал в русские газеты, помещал, кажется, и статьи в журналах, издав также книжку на французском языке о русских народных сектах. В 80-х го-

дах он, как и некоторые другие, получил возможность вернуться в Россию и поселился в Одессе, где основал газету „Южная Мысль“. Мы дружески встречались во время моих приездов в Одессу в 90-х годах. Он был все тот же бодрый, деятельный, интересный человек. Умер он скоропостижно в 1903 году.

В конце 70-х годов проживал в Париже эмигрант Н. А. Жебунев, с которым моя жена была знакома еще в начале 70-х годов, в Цюрихе, где она была студенткою медицинского факультета. В Париже это знакомство возобновилось, и между нашими семьями установились дружеские отношения, продолжавшиеся и потом, в России. Фамилия Жебуновых занимает довольно заметное место в летописях революционного движения 70-х годов, в частности в период „хождения в народ“. По жандармским донесениям выходило так, что три семьи старосветских, очень консервативных помещиков, носящих фамилию Жебуновых, являлись как бы неисчерпаемым рассадником пропагандистов и агитаторов. И действительно, революционное поветрие захватило чуть ли не всю жебуневскую молодежь целиком. Из одной семьи „ушли в революцию“ три брата. Старший, Николай Александрович, впоследствии мой приятель, открыл в каком-то городе или селе кузницу и, ради пропаганды социализма, превратился из типичного помещичьего сынка в довольно правдоподобного кузнеца. Младшие два брата также приняли деятельное участие в революционном движении и угодили в ссылку. Старший успел бежать и эмигрировал. Из другой семьи Жебуновых „ушли в революцию“ два брата, из третьей—один, Леонид Николаевич, впоследствии, по возвращении из ссылки, мой добрый знакомый по Харькову, перешедший несколько позже от социализма к радикальному крайнофильству.

Николай Жебунев, помимо революционных увлечений, навлек на себя гнев и чуть ли не проклятие старика отца, богатого степного помещика, малороссийского дворянина, еще и другим поступком: он женился на простой девушке, дочери прачки. Эта девушка, Зинаида, получила образование и обнаружила недюжинные способности. За границей, в Швейцарии, потом в Париже, она закончила свое образование, усвоила языки (по-французски говорила правильно и бойко) и стала просвещенной и развитой женщиной, не хуже многих. Живая, деятельная, очень работоспособная,

она представляла собою некоторый контраст натуре мужа, который, при большой живости и даже страстности темперамента, обнаруживал заметные признаки помещичьей обломовщины. Он легко увлекался и скоро охладевал; мог много работать физически и мог часами валяться на диване. Она же работала физически, не складывая рук, — и была на все руки мастерица. Инициатива большей частью принадлежала ей. Оба они были очень интересные собеседники и всюду вносили шум, веселье, смех и задор. За всем тем оба были наделены изрядной долей легкомыслия — и то и дело переходили от одного опрометчивого шага к другому. Надо, впрочем, сказать, что в этом отношении пальма первенства принадлежала ему, Зинаида все-таки была осмотрительнее и благоразумнее. После ее смерти (по возвращении в Россию) он повел свои дела так, что от довольно порядочного состояния, доставшегося ему после смерти родителей и дележа с братьями, через несколько лет не осталось ничего, кроме долгов, и он умер почти в нищете. За границей им пришлось много мыкаться и бедствовать, пока наконец не уладились отношения к отцу, после чего стали притекать деньги из дому, но всегда в довольно ограниченном размере. В начале 70-х годов, проживая в Швейцарии и заразившись общим революционным настроением, они решили „пойти в народ“ для подготовки революции, которая не замедлит воспоследовать лет через пять. И посему, оставив крошечную дочурку Марусю, за небольшое вознаграждение, на попечении какой-то сердобольной швейцарки, они и двинулись в отечество — и устроили конспиративную кузницу. Дело, разумеется, провалилось; пришлось им бежать за границу; застряли в Румынии, где очень бедствовали, — она стирала белье, он продавал спички. После разных мытарств они наконец кое-как устроились в Париже. Здесь, между прочим, они затеяли открыть мастерскую для чистки и окраски костюмов и вот на rue Monmartre появилась вывеска: Teinturerie Gébouneuiff. Помню, как Зинаида, инициаторша и руководительница предприятия, бойко тараторила, стоя за прилавком, с клиентами и клиентками, а он, в задней комнате, лихо утюжил пиджаки и штаны. Мастерскую, разумеется, пришлось года через два закрыть. На сей раз Жебуневы устроились в деревне, в Val Notre-Dame, недалеко от Парижа, где арендовали домик, сад и огород за баснословную цену 25 франков в месяц. Зинаида хло-

потала по хозяйству. Николай вместо утюга стал действовать лопатой. Жили недурно, подрабатывая уроками (она) и корреспонденциями в русские газеты (он). Статьи он писал живые и бойкие — больше о французских делах, о прениях в палате депутатов, о смене министерств и т. д.

С русской колонией Жебуневы почему-то не ладили, ограничиваясь приятельскими отношениями с отдельными лицами, в том числе с нами. Зато они имели знакомых и друзей среди французов. Я встречал у них Jules Guesde'a, впоследствии известного депутата, а тогда только что начинавшего свою карьеру в качестве одного из лидеров партии коллективистов. В начале 80-х годов, прожив некоторое время в Женеве, Жебуневы получили разрешение вернуться в Россию. Отказавшись от активного участия в какой бы то ни было нелегальной деятельности, они занялись сельским хозяйством и, благодаря полученному наследству, могли бы устроиться очень хорошо. Но они и тут увлеклись разными рискованными предприятиями (в роде свечного завода) и — прогорели. Их милая дочка Маруся, несмотря на все превратности судеб, выжила, выросла, получила образование и стала хорошей народной учительницей (где-то на Кавказе). Когда она изредка появлялась в Харькове, в Петербурге — мы встречались как родные. У меня и у моей жены сохранилась память о Жебуневых как о людях нам близких, которые, в самих ошибках своих оставались неизменно хорошими и симпатичными и в обществе которых никогда не было скучно.

В заключение скажу о двух французах, с которыми я сблизился. Первый — это m-r David, мой коллега по занятиям санскритом в École des hautes études. Это был средних лет господин, инженер по профессии, этим делом однако не занимавшийся и живший на свои, кажется, довольно скудные средства, как средней руки gentier. Холодной, одинокий, он отдавал всё свое время любимым занятиям — изучению разных языков и литератур — без всяких видов на карьеру филолога, а просто как любитель, дилетант. В те годы (70-е — 80-е) мы изучали санскрит, работая большею частью у старика Бергэня, и русский язык вместе с церковно-славянским, усердно посещая лекции известного ученого слависта Léger, профессора в École des langues orientales vivantes. Однажды он повел и меня на лекцию Léger и представил ему. Работал Давид весьма

тщательно, методически, выписывая слова в тетрадку и стараясь вникать во все тонкости изучаемых языков. Прочитанные тексты он переводил на французский язык, по возможности ближе к подлиннику, но так, чтобы перевод вышел вполне литературным. Так перевел он ряд гимнов Вед (занимаясь еще до меня у Бергэня) и несколько отрывков из драм Калидасы — и потом нашу „Повесть временных лет“. Все это делал он исключительно для себя, не имея в виду издавать переводы. Однажды, после лекции, он повел меня к себе, показал свои книги и тетради, свою уютную квартиру из трех комнат, аквариум с какими-то рыбками, угостил чаем, который сам приготовил на спиртовке, и предложил мне приходить к нему раз в неделю помогать ему в изучении русского и церковно-славянского языков, взамен чего он поможет мне усовершенствоваться во французском. Я охотно согласился, и наши занятия продолжались довольно долго. Мы сблизились на почве общих научных, филологических интересов. Человек он был очень симпатичный, тихий и скромный, всегда спокойный, большой добряк. Трудно было представить себе, чтобы у него когда-либо были страсти, честолюбивые стремления, порывы, большие радости, большие огорчения. Если все это и было, то давно потухло и былем поросло. Он жил тихо и бесстрастно, *sine ira et studio*, почти „мудро“, я бы сказал: не философски, а обывательски-мудро, радуясь тому, что существует и может беспрепятственно предаваться своим любимым занятиям. В один из моих последующих приездов в Париж, я его разыскал. Он сильно постарел, но был все тот же, жил в той же уютной квартирке на rue des Écoles и по прежнему изучал языки и литературы. Но вместо санскрита он теперь изучал китайский. Русский язык и литературу он не забросил: в данное время перечитывал Пушкина. И он сказал мне: „у вашего Пушкина есть то, чего нет или мало у наших великих поэтов: простота“...

Другой француз, с которым я познакомился и сблизился, был также диллетант, изучавший разные языки и литературы. Но во всем прочем он представлял полную противоположность смиренномудрому Давиду. Знакомство состоялось так. Однажды эмигрант Григорьев сказал мне: „вы вероятно слышали о старике Бамвиле (Bameville), вам следовало бы познакомиться с ним. Он читал ваши

статьи в „Слове“, и они ему очень понравились. Хотите, я поведу вас к нему. Он будет очень рад. А человек он прелюбопытный“... Здесь нелишним будет сказать несколько слов о Григорьеве. Это был некогда приятель и, кажется, собутыльник Глеба Ивановича Успенского, человек не лишенный литературного таланта, но из числа тех добродушно-беспутных русских людей, которые свой талант „зарывают в землю“ и проводят время в разговорах и зубоскальстве. Он был умен, образован, остроумен, но любил говорить глупости и щеголять парадоксами, собственно для того, чтобы подразнить собеседника и посмеяться. За всем тем человек он был добрый и хороший. Он был давнишний знакомый Бамвиля, которого обучал русскому языку. В начале 70-х годов, когда Г. И. Успенский был в Париже, Григорьев познакомил его с Бамвилем, и последний был очарован нашим писателем, которого сочинения он читал и — понимал.

Бамвиль был крупный капиталист, миллионер, владелец многочисленных домов в Руане и многих ферм в различных департаментах Франции. Это был господин лет за пятьдесят, с сильной проседью, полный, с брюшком, веселый, речистый, радушный. Григорьев повел меня к нему, по его приглашению, прямо к обеду. Подошел еще один русский, эмигрант Кружков (впоследствии натурализовавшийся во Франции и ставший профессором физики). Мы застали Бамвиля в оживленном разговоре, или споре с каким-то господином, который предлагал ему купить какую-то якобы античную статуэтку. Господин был грек, и Бамвиль бойко торговался с ним по-новогречески. Отпустив грека, он обратился к нам по-русски и заявил, что беседа должна все время идти на этом языке: такое у него правило — разговаривать с иностранцами исключительно на их языке. Оказалось, что, кроме русского и новогреческого, он свободно владел английским, немецким, итальянским, испанским, знал и древние языки — греческий и латинский. Он получил законченное классическое образование и был широко начитан во всех важнейших европейских литературах. Много путешествовал и повсюду сближался не с верхами, а с низами общества, выискивая молодых способных людей без средств, стремящихся получить образование и выйти в люди. Он оказывал им деятельную — материальную и моральную — помощь. Так на его средства

получили образование и устроились очень многие, преимущественно иностранцы — русские, греки, испанцы. В Мадриде ему указали на молодого поэта из ремесленников, кажется слесаря или токаря, который содержал родителей, братьев, сестер и, не имея средств чтобы обставить мастерскую, как следует, очень бедствовал. Бамвиль выручил его из беды и поставил на ноги. Вся семья с дедушкой и бабушкой во главе пришла благодарить и — бухнула в ноги; насилу Бамвиль уберег свои руки от поцелуев и усадил бедняков. Последние, несмотря на все заверения, остались при убеждении, что под псевдонимом Бамвиль скрывается некий таинственный инкогнито — странствующий по белому свету принц крови.

За обедом Бамвиль не сидел, а возлежал по-античному и, угощая нас изысканными яствами и редкостным вином, смаковал каждый кусок и глоток, сопровождая пиршество комментариями в таком роде: „этот молодой горошек привезен из Алжира, такого вы в Париже ни за какие деньги не найдете“, — „это вино было предназначено для вашей царицы Екатерины II, но она умерла, прежде чем вино было отправлено: весь запас остался во Франции и, переходя от одного поколения к другому, наконец достался мне“ ...

Разговор шел о литературе, о политике, о Г. И. Успенском, перескакивая с одного сюжета на другой и не заставаясь ни на одном. Бамвиль избегал монологов и предпочитал отдельные изречения — в роде таких: „Глеб Иванович лучший из людей, я никогда не встречал человека прекраснее его душой, умом и внешностью“; „наши депутаты подлецы суть, и Гамбетта подлец есть“; „я люблю русских потому, что они еще не испорчены современной цивилизацией“, и т. д.

Друг русских, в частности эмигрантов, Бамвиль был последовательный консерватор, — легитимист, правоверный католик (имени Ренана слышать не мог), хвалитель старины, порицатель всего современного. Это не мешало ему относиться к русским революционерам („нигилистам“) с полною терпимостью и при случае оказывать им всяческое содействие, разумеется не как революционерам, а как беднякам, которым нужно помочь. В их числе были лица, которые на его средства получили специальное образование и устроились.

Изредка появлялся он и в русской колонии Латинского квартала, между прочим на наших скромных пиршествах в складчину под новый год старого стиля—и всегда вносил свою лепту. Держался он просто и приветливо, и бойко тараторил с „нигилистами“ и „нигилистками“ по-русски. Ко мне лично он очень расположился, нанес мне визит, и преподнес бутылку-другую какого-то необыкновенного вина и столь же необыкновенного сидра. Я бывал у него изредка вместе с Григорьевым и Кружковым, вкушал от его изысканной трапезы и уходил со странным смешанным впечатлением, которое можно выразить так: вот человек несомненно умный и душевно-содержательный и вот законченный психологический тип *гурмана* во всем — в еде и питье, в литературных интересах, в благотворительности, в путешествиях, в идеях,—вот человек, который, не столько живет, сколько смакует жизнь.... И что за странная смесь последовательного консерватизма с просвещенной терпимостью и глубокой гуманностью!

Расстались мы добрыми друзьями. В России (в 1882 г.) я получил от него письмо, мастерски написанное в старинном эпистолярном стиле, образец изящной и остроумной *sauserie* с блестками французского юмора. Читая это письмо, я вспомнил, как однажды он говорил о том, что в настоящее время даже во Франции, в числе других забытых культурных наследий прошлого, утрачено и былое искусство эпистолярного стиля, которое процветало в XVIII веке.

Лет восемь спустя, когда в 1890 году я приехал в Париж и встретил Кружкова, он сообщил, что Бамвиль за эти годы успел разориться и опять поправить свои дела и живет по-прежнему — все тем же, только постаревшим гурманом. Мы пошли к нему. Он, разумеется, угостил нас роскошным обедом и, как в былое время, бойко изъяснялся по-русски. За обедом присутствовало новое лицо: студент серб. Бамвиль изучал теперь сербский язык.

Летом 1882 года я распростился с Парижем и уехал в Россию — с целью устроиться при том или другом университете на правах магистранта или приват-доцента. Пришлось подумать об устройстве денежных дел. Мой отец, под бременем долгов (свыше миллиона), еще в 1879 году продал Каховку и купил маленькое имение Рею в Волынской губернии, в пятнадцати верстах от Бердичева. Туда я и направился, оставив жену и маленькую дочку в Париже.

Не без некоторого чувства неуверенности подъезжал я к границе: кое-какие „грешки“ за мною числились—издание брошюры „Записки южно-русского социалиста“, знакомство с Драгомановым, Лавровым и другими эмигрантами, все это, разумеется, было известно агентам тайной полиции и явной жандармерии. Но я не трусил,—не потому, чтобы был очень храбр, а по свойственному мне несокрушимо-му психологическому оптимизму, — тому самому, который, всего лучше определяется крылатыми словечками: *авось* и *небось*. Осененный ими, я благополучно переехал границу без допроса и ареста и столь же беспрепятственно продолжал дальше.

3

В ОДЕССЕ

Главу III я начал вопросом: что такое студент? И ответил, что это такой молодой человек приобщающийся к науке, в котором еще жив гимназист. Настоящий отдел начну аналогичным вопросом: что такое молодой ученый в начальном периоде преподавательского стажа в высшей школе, получивший доцентуру или приват-доцентуру? И отвечу: это такой „молодой ученый“, в котором еще живехонек студент, незрелый адепт науки, воспринимающий ее одновременно и с наивностью, и с мудрованием, и с робостью, и с самонадеянностью неофита. Он еще не приспособился к новому положению, он в синклите ученых — *homo novus*, но ему с первых же дней поневоле приходится играть роль „настоящего“ ученого, „настоящего“ профессора. Он конечно, чувствует, что, говоря по совести, он далеко еще не „настоящий“, но ведь нельзя же это чувство выставить на показ... Приходится его скрывать, да и само оно норовит прятаться, что однако не всегда удается. Очень трудно выдерживать роль, не сбиваясь с тона. Изю дня в день *симулировать* и *диссимулировать* — задача нелегкая. „Молодой ученый“, еще не „настоящий“, вдруг возьмет да и заговорит (и даже печатно) тоном настоящего, авторитетного ученого, — и непременно попадет впросак. Или вдруг заробует, сконфузится и обнаружит скрытого в себе студента, угнетаемого страхом — как бы не „срезаться“.

Черед этого — психологически неизбежного — профессионального лицедейства наступил для меня уже зимою

1882 года, когда я приехал в Москву в чайнии получить от историко-филологического факультета звание доцента либо приват-доцента (по уставу 1868 года, тогда еще действовавшему).

М. М. Ковалевский представил меня профессорам Всеволоду Федоровичу Миллеру и Филиппу Федоровичу Фортунатову, уже тогда пользовавшимся заслуженною репутацией выдающихся, высоко-авторитетных в своей области ученых. Из беседы с ними сразу обнаружилось, что мои сведения в сравнительной грамматике индоевропейских языков совершенно недостаточны, и что экзамен по этому предмету неизбежно привел бы к весьма плачевному результату. Зато в санскрите и в иранском я был более или менее сведущ и мог бы получить не доцентуру, а приват-доцентуру, для чего требуется представить и защитить небольшую диссертацию *pro venia legendi* и прочесть пробную лекцию. В качестве диссертации я представил извлечение из моего, в рукописи почти законченного труда о культе божества Сома у индусов в эпоху Вед, напечатав эту главу брошюрою под заглавием „Миф о соколе, принесшем цветок Сомы“. На основании отзыва В. Ф. Миллера диссертация была принята. На защите я совсем заробел и сконфузился, то и дело сбивался и окончательно опешил, когда Ф. Ф. Фортунатов разбил в пух мои плачевные этимологические толкования. Тем не менее „диспут“ сошел. Пробную лекцию (по фонетике санскрита и древнеиранских языков) я провел толково и гладко. Получив звание приват-доцента по индоиранской филологии, я направился в Одессу, где и был избран в приват-доценты по этому предмету. В январе 1883 года я приступил к чтению лекций по санскриту и по сравнительной грамматике индоиранских языков.

В это время я уже не получал содержания из дому. Пришлось подумать о заработке. 1200 руб., получаемые за чтение лекций в университете, были недостаточны для семейного человека,—я стал искать уроков в средних учебных заведениях и получил их сперва в новооткрытой еврейской гимназии Гохмана и Гурлянда, где преподавал латинский язык в 3-м классе, потом в женской гимназии Пиллер, где мне пришлось вести в 7-м классе занятия по предмету, для меня тогда совершенно новому, по методике русского языка, позже в другой женской гимназии по русскому

языку. В 1885 году представилась и литературная работа, в „Одесских Новостях“ (издание Черепенникова), где мне был положен высший гонорар, четыре копейки за строчку. Все вместе давало немного, едва-едва тысячу рублей в год, а труда и времени приходилось затрачивать немало. Кое-как мы сводили концы с концами, и то благодаря лишь учету и переучету „бронзовых“ векселей в обществе взаимного кредита.

Таким образом в 1883 году наконец осуществилось мое давнишнее стремление—перейти из разряда обеспеченных, живущих на готовые средства, в разряд необеспеченных, живущих трудом. И, несмотря на постоянные финансовые затруднения, на утомление (особенно утомляли уроки), на непроизводительную (в отношении к моим научным занятиям) трату времени, я все-таки был рад перемене условий существования, — в среде трудящихся я чувствовал себя как раз на своем месте. В материальном отношении было довольно плохо, но в психологическом было хорошо.

Ближайшими моими задачами, как „молодого ученого“, было следующее: 1) пополнить хотя бы некоторые, существеннейшие пробелы в моих сведениях по сравнительной грамматике индоевропейских языков, 2) окончить и написать магистерскую диссертацию („Опыт изучения вакхических культов“... и т. д.). Пробелы были отчасти пополнены прилежным изучением новейших (в то время) исследований по фонетике и морфологии индоевроп. языков — Бругманна, Остгофа, Сосюра, Иоганна Шмидта, Густава Мейера и др., а также изучением важной вспомогательной дисциплины — физиологии звуков речи (*Lautphysiologie*, по Зиверсу и др.), и года через два я уже мог считать себя достаточно подготовленным к экзамену на магистра по сравнительной грамматике индоевропейских языков, который и выдержал в Харькове, в 1885 г., у профессора В. И. Щерцля. К этому времени была уже напечатана в „Записках Новороссийского Университета“ моя диссертация. Я представил ее историко-филологическому факультету Харьковского университета. Она была допущена к диспуту по отзыву того же профессора В. И. Щерцля (о самом диспуте я расскажу ниже, когда буду говорить об А. А. Потемне). Магистерская степень не улучшила моего материального положения в Одессе: я оставался на том же месте приват-доцента, на том же жаловании в

1200 рублей. Для дальнейшего продвижения по службе необходимо было получить степень доктора, и я, не теряя времени, приступил к работе над докторской диссертацией. Тему я взял из той же излюбленной мною области изучения (религия и мифология индусов в эпоху ведаизма), но только на сей раз остановился на боге огня (Agni). Через два года диссертация („К истории культа огня у индусов в эпоху Вед“) была готова и представлена в Одессе, куда перед тем перешел из Харькова профессор В. И. Шерцль. По отзыву последнего, она была принята, хотя не без некоторых трений и продолжительного прения в факультете, где против нее восстал профессор А. А. Козубинский, ко мне почему-то издавна нерасположенный. Но меня дружно поддержали Н. П. Кондаков, Ф. И. Успенский, А. И. Кирпичников, Н. Я. Грот, И. С. Некрасов и некоторые другие, всегда сочувствовавшие мне и оказывавшие всяческую поддержку. Диспут прошел гладко (оппонировали Шерцль и Воеводский), и я получил искомую степень доктора. В том же (1887) году, летом, я был назначен экстраординарным профессором Казанского университета и осенью, ликвидировав все свои дела в Одессе, отправился в далекую Казань—с таким чувством, как будто отправляюсь в ссылку.

Выше я упомянул о том, как я пополнял пробелы своей эрудиции. Да не подумает читатель, что я, пополнив их, успокоился и укрепился в сознании своей учености. О, нет! Дело оказалось очень сложным и затяжным и вместе с тем чрезвычайно заманчивым. Я предался ему с жадностью умственно-голодного, с своего рода „духовною жаждою“, и оно превратилось в дело всей жизни. Я его уже не оставлял, и вот сейчас, в 1920 г., когда мне 67 лет, я всё еще и всё с тем же рвением занимаюсь им. И вот некоторые наблюдения, вынесенные мною из тридцатилетнего с лишним опыта. Когда пополняется тот или другой пробел, то вскоре замечаешь, что в его пределах или по соседству с ним вскрывается, так сказать *вторичный* пробел, раньше незамеченный, потом *третичный* и т. д. И выходит, что пополнить пробел так, чтобы он совсем исчез со всеми своими производными пробелами, никоим образом нельзя. Наука неисчерпаема. И довольно скоро выясняется мысль, что в обретении новых пробелов и заключается главный интерес научного познания. Надо различать два рода пробелов: *экстенсивные* (пробелы эрудиции) и *интенсивные*

(пробелы научного углубления). Они нередко оказываются тесно связанными друг с другом, но между ними все-таки наблюдается принципиальное различие. Первый род относится к *фактическому материалу науки* (понимая под последним не только факты в собственном смысле, но и обобщения фактов, толкования, теории), и адепт науки, пополняющий эти пробелы, только раздвигает пределы своей эрудиции; его мысль работает, так сказать, в ширь. Второй род принадлежит к области психологии и методологии науки. Это — пробелы ученой пытливости, недочеты *адогматического мышления*, сбивающегося на несвойственный и неприличествующий науке путь догматического мышления. Это — пробелы научно-созерцательной перспективы, идущей в глубь вещей. Устраняя их, адепт науки воспитывает свой ум в навыках свободного отношения к учениям, направлениям, школам, доктринам. Он приучается (это не так легко, как кажется) орудовать идеей *относительной истины*, избегая соблазна принять ту или другую теорию, то или другое обобщение за истину абсолютную. Он идет и дальше — к устранению из обихода своего мышления идеи гипостазированной „*истины*“, как метафизической субстанции, генезис которой скрывается в донаучном, мифологическом мышлении и которая установилась и забронировалась на почве мышления религиозного. Что же касается так называемых „*абсолютных истин*“, принятых в качестве бесспорных, общеобязательных, то они в науке, области *адогматического мышления*, находят лишь весьма ограниченное применение. И в самом деле: в науке, к категории такой, общеобязательной, *истины* относится либо то, что, являясь самоочевидным, не требует доказательств (математические аксиомы или, например, $2 \times 2 = 4$), либо то, что доказано и не может быть опровергнуто (это почти исключительно в сфере фактического материала). Как то, так и другое по существу дела неспособно вызывать научную пытливость. Иначе говоря, при большем или меньшем, а иной раз и огромном значении в обиходе науки, эти истины не представляют для познающего разума живого, психологического интереса. Разум примет их пассивно к сведению и к надлежащей утилизации, но не ими возбуждается к активности, к познающей деятельности, к творчеству. Живой нерв науки, это всё то, что не самоочевидно, что не доказано, и даже то, что не подлежит окончатель-

ному, бесповоротному доказательству, — всё, что может быть превращено лишь в относительную, условную, временную „истину“, психологически весьма далёкую от „истины“ абсолютной, догматической.

Живая жизнь науки вся в гипотезах, в построениях, в теориях, имеющих силу лишь большего или меньшего приближения к области познания, в критике, разрушающей вчерашние выводы, в новых выводах, подлежащих разрушению завтра. Жизнь науки вся в движении, преобразовании, изощрении глазомера, выработке метода, углублении научного интереса, раскрытии новых горизонтов мысли, смены точек зрения.

И сколько в этой напряженной творческой работе за последнее столетие рухнуло „истин“, некогда принимавшихся догматически, казавшихся абсолютными!

В этом направлении работала моя мысль в те годы, но это не была работа планомерная и вполне сознательная. Это только бродило и назревало в моем уме, и лишь значительно позже, уже в 90-х годах, оно созрело настолько, что я мог более или менее отчетливо уяснить самому себе принципиальные отличия научного мышления от всякого другого, его психологию и его этику, как особого *типа* мысли. В 80-х в этой области у меня все еще оставались привычки профанного, а не научного мышления, а то и просто обывательского. Тем не менее я все-таки шел вперед, а это в области рационального мышления самое главное.

В те же годы я наконец освободился от предрассудков против *метафизики*.

В 70-х годах это злополучное слово было одиозным для большинства мыслящих людей, в том числе и для меня. Теперь я, как и многие, отбросил этот предрассудок и убедился в том, что метафизика имеет все права на существование, что ее корни соприкасаются с корнями самой науки, поскольку последняя имеет дело с идеей *Бесконечного*, которая по существу своему метафизична, или, вернее, мистична, сверхрациональна. И наконец мне пришлось убедиться и в том, что в философских и метафизических системах, преимущественно в идеалистических, скрывается огромный запас плодотворных идей, которые послужили и продолжают служить для научной мысли неоскудевающим стимулом возбуждения и развития.

Если в прежнее время, в 70-х годах, меня пленяла и околдовывала идея Науки вообще и Социологии, ее венца, в частности, то теперь меня очаровала идея Бесконечного, идея Вечности, недоступная рациональному постижению и тем не менее для научномыслящего ума логически обязательная.

И чем бы я ни занимался, текстами ли Вед и Библии, мифологией индусов и иранцев, чтением ли книг по психологии, по социологии, пополнением ли пробелов в моих сведениях по сравнительной грамматике, по восточной и классической филологии и т. д. и т. д., — идея Бесконечного и Вечного незримо и неотступно сопутствовала работе моего ума и порою открывалась моему духовному взору, как *бесконечность и вечность мировой эволюции*. И я прозревал, что не только всё механическое, физическое, химическое, всё царство вечной материи и вечной силы, но и всё биологическое и всё психологическое, куда я относил и всё социальное, можно и должно изучать и созерцать *sub specie aeternitatis*, наперекор фактической бренности явлений мира организмов и психики и несмотря на то, что сама идея эволюции включает в себе понятие о начале и о конце.

Все равно! — думал я: космос бесконечен и вечен, эволюция организмов и психики образует его интегральную часть, пожалуй его венец, следовательно атрибут вечности и бесконечности должен быть приписан и эволюции. То, чем характеризуется целое, не может стать чуждо его части. Правда, растения, животные, человек рождаются, растут, живут, умирают; правда, органическая и психическая жизнь на земле, эволюция видов, социальная жизнь с ее культурой и прогрессом когда-то впервые возникли и когда-нибудь исчезнут на нашей планете. Но из этого не следует, что эволюция организмов и психики ограничена пределами земного пространства и земного времени. Ибо космическому пространству и космическому времени нет пределов, и число миров, подобных нашей земле, бесконечно. Следовательно, эволюция бесконечна. И если вдуматься глубже, она представляется не только бесконечной, но и безначальной, ибо мир организмов и психики есть результат метаморфозы материи и силы, предопределившей продукт *их* эволюции. Идея эволюции должна быть распространена на мир материи и силы, на весь космос.

Жизнь обнаружилась в известный момент, но ее, так сказать, принцип, ее возможность, ее необходимость, ее тайна имманентно даны в законах материи и силы, в тайне явлений мировой механики, в тайне эволюции процессов физико-химических. Эволюция существа, как и эволюция вещества, таким образом безначальна и бесконечна, и ее идея столь же чарующе-мистична, как чарующе-мистичен космос, беспредельный и вечный.

И в этом порядке идей я усматривал вечную основу, на которой зиждутся устои и научного, и философского, и религиозного, и даже художественного и морального сознания и творчества.

В статейках, печатавшихся в „Одесских Новостях“ (Черепенникова), маленькой и малораспространенной газетке, я пытался дать посильное выражение этим идеям, — и всегда это выходило в каком-то наивно-приподнятом тоне (в приват-доценте еще сидел студент).

Но, по внушению некоторого инстинкта (должно быть, инстинкта экономии научной мысли), я не вводил их в свою ученую работу и излагал свои посильные исследования, например о культе Огня в эпоху Вед, или о „Быке“ в религиозных представлениях древнего востока так, что читатель никак не мог бы заподозрить автора в склонности к философской (с точки зрения идеи Бесконечного) постановке вопросов мифологического и религиозного развития.

Одновременно с этими философскими (точнее, космологическими) интересами обнаружился, в меньшей мере, интерес *психологические*.

Прежде всего я обратился к новой французской школе с Рибо во главе. Его книги (о психологической наследственности, о болезнях памяти, болезнях воли и др.), статьи его журнала „Revue Philosophique“, а равно книги и статьи разных ученых, трактовавшие о внушении, о гипнозе, о психологии истеричных и т. д., составляли в те годы (да и потом) мое излюбленное чтение. На этом материале изоощрялся мой прирожденный психологизм, и многие мысли и выводы, какие я встречал в этих книгах и статьях, казались мне как бы „моими“, в скрытом виде сохранявшимися у меня в подсознательной сфере и теперь, под импульсом прочитанного, перешедшими в область сознания.

Психология мысли, чувства, воли, личности („я“) явилась для меня излюбленным предметом затяжных размышлений.

Впоследствии, когда эти размышления стали интенсивнее и планомернее, психология, не переставая быть предметом изучения, превратилась у меня в орудие познания, в метод исследования, которым я и пользовался (с 90-х гг.) при изучении явлений языка (синтаксиса), мифологии, религии, творчества писателей (Тургенев, Толстой, Гейне, потом Гоголь, Пушкин) и наконец в затянувшейся на многие годы работе по истории русской интеллигенции.

V

ПАМЯТИ ПОЧИВШИХ

1

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ДРАГОМАНОВ

В 1872 или 1873 году (мне было 19—20 лет) я прочитал в „Вестнике Европы“ большую статью, под заглавием „Восточная политика Германии и обрусение“. Подпись автора „М. Т—ов“ ничего мне не говорила. Но статья сказала мне много, несмотря на то, что в то время я совсем не был подготовлен к пониманию тех вопросов, о которых трактовала статья. Но у меня уже возникал тогда смутный, как бы инстинктивный интерес к проблеме национального развития. Как раз в это время я перечитывал Шевченка и понемногу втягивался в атмосферу симпатий „ко всему малорусскому“. Это помогло мне угадать в авторе статьи „М. Т—ове“ украинофила. Статья указывала на опасность, грозящую России и всему славянству со стороны Германии, разоблачала немецкие „культуртрегерские“ замыслы, *Drang nach Osten*, и проводила ту мысль, что „восточной политике Германии“ должна быть противопоставлена во внутренней политике России не система обрусения, а система благожелательного отношения к национально-культурным стремлениям всех народностей, населяющих Россию, и прежде всего — тех, которые граничат с Германией и Австро-Венгрией. Статья производила впечатление очень серьезного научно-публицистического трактата, написанного знатоком дела.

Два года спустя, уже в Одессе, мне стало известно, что автора статьи зовут Михаил Петрович Драгоманов, что он — доцент Киевского университета по кафедре всеобщей истории и в то же время видный

деятель „украинофильства“, один из лидеров Киевской Громады.

В 1875-76 гг. имя Драгоманова в украинофильских кругах стало чрезвычайно популярно, на ряду с именем Владимира Бонифатиевича Антоновича. А когда, в 1876 году, Драгоманов, по высочайшему повелению, был лишен кафедры („по 3-му пункту“) и эмигрировал, он сделался кумиром левой украинской молодежи. От него ждали „нового слова“ и не сомневались, что он, так или иначе, оживит и двинет вперед дело возрождения украинской национальности — в связи с общим, всероссийским освободительным движением.

Следя за его литературной деятельностью (статьи в „Вестнике Европы“, статьи на украинском языке, напечатанные в Галиции, позже политические брошюры, изданные в Женеве), я стал горячим его поклонником и приверженцем. Осенью 1876 года, незадолго до своего отъезда за границу, он приехал в Одессу с специальной целью лично познакомиться с деятелями Одесской Громады. Живо помню те чувства нетерпеливого ожидания и восторженного любопытства, с какими Одесские громадяне, в особенности младшие, тогда еще студенты, готовились к встрече признанного „вождя“, на которого возлагалось столько надежд. Я лично всецело разделял эти чувства.

— Какой он „собой“? Как говорит? Как Л. А. Смоленский, наш „батько“ и „лидер“, или как-нибудь иначе? Какие у него глаза? Что скажет он по тому или другому вопросу? Каковы его ближайшие планы? и т. д., и т. д.

И когда он наконец явился, мы смотрели на него и слушали его речи с затаенным восторгом, примерно так, как Наталья и Басистов слушали Рудина...

Но всего менее походил М. П. Драгоманов на Рудина, — не походил он и на Л. А. Смоленского... Ни горячих слов, ни жгучих лозунгов, ни пылких речей мы не услышали. Он говорил много и о многом, но без пафоса, без гражданской слезы, без скорби, без негодования. Перед нами был человек живой, веселый, жизнерадостный и необыкновенно привлекательный своею простотой и отсутствием претензий на роль „пророка“ и „вождя“. Сразу бросалось в глаза другое: живой ум, ясность мысли, огромный здравый смысл, добродушный юмор и невыска-

зывается, но как бы самоочевидная глубоко-моральная сила души.

Он оказался человеком требовательным и настойчивым, но только его требования были более, чем умеренные, — они были минимальные. Ни о каких жертвах, ни о каком долге перед народом, ни о каких подвигах не было и речи. А было вот что: надо внести свою лепту в дело развития украинского самосознания, которое следует очистить от консервативных и романтических элементов; надлежит связать украинское движение с общим прогрессивным, либеральным и радикальным движением умов в России, — идти об-руку с либералами-демократами, как Стасюлевич, Арсеньев, Пыпин, с радикалами (социалистами), как Михайловский и др., а главное — возможно усерднее работать над созданием украинской просветительной и освободительной литературы. „Пишите статьи, брошюры, книги“, — говорил нам Драгоманов: — „чтобы написать хорошую популярную статью по тому или другому вопросу (например литературному, экономическому, политическому), вовсе нет надобности быть призванным писателем: для этого достаточно быть просто образованным человеком со смыслом в голове“... И я помню, как на собрании у Л. А. Смоленского Драгоманов поставил вопрос ребром: *кто о чем и в какой срок напишет?* Почти все с живостью откликнулись и разобрали темы, кто по истории, кто по экономическим вопросам, кто по литературе, и т. д. Я сказал, что напишу о русских религиозных сектах. Напоследок Л. А. Смоленский обратился к своей супруге: — „а ты, Леночка, возьмешься написать о чем-нибудь?“ Елена Самойловна Смоленская, женщина с большим умом, по преимуществу критическим и скептическим, ответила так: — „ничего написать я не берусь; но я возьму на себя другую задачу, очень легкую: я обещаюсь прочитать всё, что вы напишете, — я уверена, что на это уйдет очень мало времени“... Это саркастическое заявление чрезвычайно понравилось Драгоманову. Он расхохотался своим веселым смехом, — а потом, два года спустя, в Женеве, юмористически вспоминал об этом эпизоде, ибо, как и следовало ожидать, ничего мы не написали, и Елене Самойловне так и не пришлось читать наших произведений на украинском языке...

В 1877 году летом я уехал за границу и на первое время поселился в Праге, предполагая заняться славянской фило-

логией. Время было каникулярное, до начала занятий в университете было еще далеко, знакомых не было, кроме двух-трех. Я затосковал и решил съездить в Женеву к Драгоманову.

Будучи лично незнаком с ним (Одесское знакомство с ним в Громаде было, так сказать, коллективное, а не индивидуальное), я, при моей застенчивости и неуверенности в себе, едва ли отважился бы на этот шаг, если бы не знал, что там-же, в Женеве, и, повидимому, у самого Драгоманова в доме живет мой товарищ по университету и по Громаде и приятель Феофан Александрович Василевский. Я написал ему о своем желании приехать и представиться Михаилу Петровичу.

Драгоманов встретил меня очень радушно и предложил остановиться у него в доме. Пробыл я у него, помнится, месяца полтора. За это время я глубоко привязался к нему лично и к его семье, и это чувство до сих пор живо в моей душе.

Когда, лет через двадцать после моей последней встречи с Драгомановым (в 1882 г.), я навестил в Киеве его вдову Людмилу Михайловну, — волнение, меня охватившее и чуть не разразившееся слезами, обнаружило всю силу очарования, связанного с воспоминаниями о Михаиле Петровиче и его семье...

Зимой 1877 года пришлось мне вторично побывать в Женеве, и я опять прожил с месяц у Драгомановых.

Разбираясь в своих впечатлениях от самой личности Михаила Петровича, я прихожу к выводу, что они всего лучше определяются словом „обаяние“, и что это обаяние основывалось, главным образом, на действии психологических контрастов между его натурой и моей, при совпадении или общности умственных запросов, стремлений, симпатий и антипатий.

Политические, научные, литературные идеи Драгоманова гармонировали с моими, отличаясь от последних лишь тем, что у него они были давно выработаны, а у меня находились еще в стадии первоначального развития. Все, что он высказывал печатно и устно, казалось мне как бы „моим“, к чему я сам шел, что бродило в моем уме и чувстве и манило мою мысль. Его взгляды, его симпатии и антипатии, его интеллектуальные вкусы не вызывали во мне никаких возражений, никакого, ни сознатель-

ного, ни подсознательного протеста. Не могу припомнить, чтобы какая-либо мысль или какой-либо отзыв Драгоманова отражались во мне, столь для меня характерным в случаях коренного психологического расхождения при-ступом меланхолического раздумья. Я вообще не „спорщик“, но мог бы вообразить себя спорящим по тому или иному вопросу с кем угодно, но только не с Драгомановым. Что касается собственно *моральных* запросов и принципов, то брошюра Драгоманова „Чистое дело требует чистых средств“ объяснила мне и отчетливо формулировала то, что бродило и накипало у меня самого, в моем еще не установившемся нравственном сознании.

При таком почти полном, или казавшемся полным совпадении мыслей, чувств, настроений, коренная противоположность натуры Драгоманова моему душевному укладу проявляла для меня особливую притягательную силу. Меня пленяло то, что он совсем не такой, как я, совсем другой человек. Моя вялость, медлительность, род „обломовщины“ представляли вопиющий контраст его живости, бодрости, неутомимой деятельности. Мой меланхолический темперамент резко выступал в свете его яркой жизнерадостности. Некоторая, мне свойственная замкнутость и, в частности, молчаливость, недостаток экспансивности, как я думаю, должны были казаться Михаилу Петровичу чертами странными и едва ли приятными: уж очень противоречили они его открытому нраву, его общительности и разговорчивости. Помнится, кто-то передал мне его добродушно-ворчливое замечание обо мне: „что же он все молчит?“ Но для меня получался как раз обратный эффект: я любовался указанными чертами Михаила Петровича, они чрезвычайно нравились мне, — его разговор, всегда интересный, его милые шутки, его словечки, его смех околдовывали меня. Это „колдовство“ не уступало даже тому, какое — позже — я неизменно ощущал в обществе Максима Максимовича Ковалевского.

Есть натуры, которые надолго, иногда на всю жизнь, остаются неясными, загадочными даже для близких, для „своих“. Драгоманов, как и М. М. Ковалевский, не принадлежал к этой категории. Это была натура ясная, — если можно так выразиться, прозрачная. Умственные и моральные основы его личности обнаруживались в его словах и делах произвольно, отчетливо и просто, — я сказал бы:

даже наивно. Глубокая искренность и редкая честность души были у него чертами, бьющими в глаза. Ничего он не утаивал и не затаивал, — его слова и поступки были точным отпечатком его души.

Психически это была натура на редкость здоровая, цельная и уравновешенная. Я не могу представить себе М. П. Драгоманова переживающим „душевную драму“, разлад между мыслью и чувством, между нравственным долгом и внушенной страстью. Да и не было у него страстей, способных омрачить сознание и возмутить ясность души, не было даже и обыкновенных человеческих слабостей, которые, как известно, нередко оказываются вреднее страстей. Драгоманов, без сомнения, принадлежал к редкому и высоко-ценному типу натур не только нормальных, но и *нормативных*, и с этой стороны я бы сопоставил его уже не с М. М. Ковалевским, а с В. Г. Короленко. Как у последнего, моральная основа личности проявлялась у Драгоманова с тою полнотою и неуклонностью, которые невольно внушают нам мысль, что перед нами не просто „хороший“, „во всех отношениях порядочный“ человек — с правилами, а человек, являющийся *образцом морального здоровья и высокого строя души*.

Если не ошибаюсь, люди этого типа, в большинстве случаев, не склонны выступать с моральной проповедью. Они — не моралисты-проповедники и не требуют от ближних подвига самоотречения. Но зато они всегда очень требовательны в сфере обыденной, элементарной морали. И, предъявляя минимум нравственных требований, они уже не простят человеку, который этого минимума не соблюдает. Они фактически не выносят лжи, даже невинной, и того наивного „плутовства“ души, к которому так склонно большинство смертных. Не выносят они мелких чувств, нравственной дряблости, мелочных компромиссов с совестью и т. п. прегрешений, имя которым легион, и которые „среднему человеку“ в конце концов не мешают все-таки оставаться порядочным человеком. Встречаясь с проявлениями такой моральной слабости, они не могут воздержаться от выражения надлежащей оценки. Оттуда — тот, иначе не объяснимый факт, что у них оказывается много недоброжелателей, которые в их присутствии испытывают род нравственной боязни, робеют перед ними, а потому и не могут им этого простить. Драгоманов никак

не мог удержаться, чтобы человеку, который солгал или покривил душой, не высказать прямо в глаза своего осуждения и, пожалуй, презрения. *Inde irae...*

Со стороны интеллектуальной, общая нормативность натуры Драгоманова выражалась в уравниловке ума, в ясности и свободе мысли, в прирожденной здравости суждения. Парадоксы, эксцентричности и чудачества мысли были ему органически чужды. Мистика и фантастика казались ему если не просто недомыслием, то по крайней мере симптомом извращения и темноты ума. Склад или тип его мышления был по преимуществу научный с заметным преобладанием индуктивных приемов над дедуктивными. В философии он примыкал к позитивизму, в частности к Спенсеру. Относительно метафизики он, повидимому, разделял все предубеждения эпохи 60—70-х годов. Его ум, большой и сильный от природы, вооруженный обширными познаниями, воспитанный в духе научного мышления, был одинаково приспособлен как к ученой, так и к публицистической деятельности. Жизненный путь привел к тому, что взяла верх эта последняя, — и в ряду наших публицистов Драгоманову принадлежит одно из самых первых мест. Его статьи по общерусским вопросам, как и по украинским, до сих пор не потеряли своего значения. И молодому поколению можно дать благой совет — изучать Драгоманова: оно вынесет из этого изучения много ценного и важного — по самым животрепещущим вопросам современности.

Общая идеология Драгоманова определяется следующей формулой: в политике — политическая и гражданская свобода, децентрализация, федерализм; в национальном вопросе — свободное развитие всех народностей, имеющих задатки создать свою национальную культуру; в социальном вопросе — демократические реформы и деятельность в духе социализма; в литературе — реализм; в философии — позитивизм.

Очередными задачами в России он признавал установление начал политической свободы, поднятие земской деятельности, устранение всех преград, препятствующих национальному развитию народностей, населяющих Россию, просвещение народных масс путем школы и популярной литературы.

Как украинец и горячий украинский патриот, он большую часть своей деятельности направил на разработку

вопросов национального возрождения и культурного развития своей родины. Но ни в каком смысле он не был сепаратистом, — и подавно ничего не было в нем „мазепинского“. Он стоял за целостность и единство России, высоко ценил общерусскую литературу и не отрицал ни государственного, ни культурного значения общерусского литературного языка.

Кстати сказать, этот язык в его доме был обиходным, несмотря на то, что, как он сам, так и его жена, Людмила Михайловна, владели украинским языком в совершенстве, как родным.

У всякого публициста по призванию найдется своя излюбленная идея, своя политическая „мечта“, свой „конек“. Был таковой и у Драгоманова, и состоял он в следующем: культурное сближение и род федерации славянских и романских народов должны создать оплот против натиска объединенной Германии...

У всякого деятеля найдутся свои — личные — предрасположения, свои „культурные вкусы“, род психологической тяги к той или иной стороне современной действительности, к тому или иному порядку вещей или строю жизни. Такая тяга была и у Драгоманова. Я определил бы ее так: Драгоманов психологически тяготел к Западу, преимущественно романскому, к Франции и Италии в частности, — он был в этом смысле настоящий „западник“. На романском Западе все ему было по душе: и склад жизни, и культурные традиции, и исторические воспоминания, и памятники искусства, и самые языки, и живость темперамента, и даже манера говорить и жестикулировать. Свободно владея важнейшими европейскими языками, он отдавал предпочтение французскому и итальянскому. Помню его шутовское замечание: „зачем эти тяжеловесные формы слов с ненужными суффиксами и окончаниями? Почему я должен называться *Дра-го-ма-нов*, а не проще и короче — *Dragman*?“

Повидимому, перспектива остаться навсегда за границей его не пугала, в Россию его не тянуло, и, кажется, чувство ностальгии было ему неведомо.

Психологически Драгоманов представлял собою законченный тип „русского европейца“ в лучшем смысле этого слова. Вследствие этого его украинский патриотизм, его

национализм и панславизм были совершенно свободны от каких-либо национальных предубеждений и пристрастий, а также и от примеси консервативных и романтических элементов. Во всех вопросах жизни и мысли, с какими приходилось ему иметь дело, он смотрел вперед, а не назад. Высоко цenia достоинство и национальное значение поэзии Шевченка, он относился к ней критически и полагал, что великому поэту Украины не надлежит приписывать роль пророка, вождя, идеолога: для такой роли Шевченко был непригоден за недостатком основательного и широкого образования. Драгоманов неуклонно стоял на той точке зрения, что как в сфере идей, так и в самой жизни нельзя сделать ничего путного без надлежащих знаний, без солидной образованности, без умственного развития, соответствующего духу и требованиям времени. Помню его филиппики по адресу разных лиц, обнаруживавших либо недостаточность общего образования, либо слабую осведомленность по тем вопросам, о которых они высказывались с излишней самоуверенностью. Помню также его упреки тем писателям, которые берутся писать на известную тему, не потрудившись основательно изучить литературу вопроса, или, изучив ее, слишком полагаются на свою память и „пишут от руки“, как он выражался, т. е. без справок в источниках и пособиях. В этой — интеллектуальной — сфере он был столь же нормативен и требователен, как и в области нравственных отношений. И как там, так и тут он не затруднялся открыто и прямо выражать свое мнение и осуждение. Чужого самолюбия, в особенности мелкого, он не щадил... Пришлось и мне, грешному, выслушать от него некоторые — вполне справедливые — упреки, за которые я могу быть только благодарен ему.

В последний раз виделся я с Драгомановым летом 1882 года. Я проживал на даче в Val Notre-Dame, возле Парижа, где жили и мои друзья — эмигрант Николай Александрович Жебунев и молодой талантливый еврейский писатель Бен-Ами (Марк Рабинович), ныне маститый, всеми уважаемый деятель сионизма и русско-еврейской литературы. Драгоманов приехал из Женевы в Париж по каким-то делам и, между прочим, посетил и нас на даче. Помню оживленную беседу за обедом в саду у Жебуневых. Между прочим речь зашла о новом заграничном

издании на общерусском языке — газете „Вольное Слово“, в которой Драгоманов принимал ближайшее участие. Он пригласил нас трех в сотрудники. Вскоре Жебунев написал корреспонденцию из Парижа, а я статью, кажется на тему о национальной и областной автономии в будущей свободной России. Статьи в свое время и появились — под псевдонимами. Переночевав у нас, Михаил Петрович на другой день уехал в Париж, где я еще раз виделся с ним. Мне предстояло вскоре вернуться в Россию, после пятилетнего отсутствия. Мы простились, не теряя надежды когда-нибудь и где-нибудь встретиться. В 1890 году я опять был в Париже. Узнав, что Драгоманов был здесь и, может быть, еще не уехал, я, горя нетерпением увидеть его, устремился по данному мне адресу; но оказалось, что накануне он уехал. Велика была моя досада...

Живо воскресла в памяти моя последняя встреча с Драгомановым (в 1882 г.), когда в 1913 году покойный Василий Яковлевич Яковлев-Богучарский показал мне письмо Михаила Петровича к одному лицу, написанное в том же 1882 году. В письме говорилось об издании „Вольного Слова“ и о том, что он, Драгоманов, привлек к сотрудничеству Жебунева, Рабиновича и „Кулика-птицу“.

— Не вы ли сей Кулик-птица? — спросил меня Василий Яковлевич.

— Он самый и есть, — ответил я, — так бывало величал меня покойный Михаил Петрович.

И я рассказал Василию Яковлевичу все, что мог вспомнить по „делу“ об издании „Вольного Слова“. Как известно, газета вызвала в эмигрантских кругах много нареканий и подозрений. Говорили, что основатель газеты был доверенным лицом графа Игнатъева, тогда министра внутренних дел, и будто все предприятие носило провокационный характер. К этому взгляду склонялся и В. Я. Богучарский. Но я хорошо помню, что Драгоманов указывал на земские круги, органом которых должно было служить „Вольное Слово“. Впоследствии, кажется в 1914 году, Шишманов (зять Михаила Петровича, профессор университета в Софии) говорил мне, что в архиве Драгоманова, у него хранящемся, есть документы, оставшиеся неизвестными В. Я. Богучарскому, из которых со всею очевидностью явствует, что средства на издание „Свободного

Слова“ поступали с юга России, из земских кругов, через таких-то и таких-то лиц.

Газета просуществовала, если не ошибаюсь, года два.

В 1889 году Драгоманов переселился в Болгарию, где занял кафедру всеобщей истории в университете в Софии. Там он и скончался в 1895 году. Глубокой душевной болью отозвалось во мне известие о его кончине.

Я свято храню память о нем.

2

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЗИБЕР

Если Драгоманов был для меня ментором по общеполитическим вопросам и, в особенности, по национальному, то у Зиберы я научился разбираться в вопросах социализма вообще, марксизма в частности.

Как известно, Н. И. Зибер был последовательный, „правоверный“ марксист и по праву должен быть признан родоначальником „русских учеников Карла Маркса“.

Превосходный экономист, ученый с умом обширным и глубоким, Зибер охотно делился своими знаниями и мыслями со всеми, кто обращался к нему. В числе таких обращавшихся и жаждущих почерпнуть из сокровищницы его эрудиции был и я. Читать его книги и статьи было трудно (помнится, так и не удалось мне одолеть его знаменитую книгу о Рикардо и К. Марксе), ибо писал он сухим и тяжелым слогом и не умел или не хотел популяризировать, ошибочно предполагая в рядовом читателе человека, достаточно подготовленного к пониманию экономических вопросов. Но зато его устное изложение отличалось редкою ясностью, отчетливостью и даже художественностью. И говорил он с увлечением и подъемом. Стоило только задать ему любой вопрос из области его специальных изучений, — и он моментально из собеседника превращался в профессора, читающего живую, содержательную, увлекательную лекцию. Заметив эту черту, я старался при встречах с ним не пропускать случая — и „задавал вопросы“... И я прослушал таким способом ряд превосходных импровизированных лекций по вопросам социализма и марксизма.

Познакомился я с ним осенью 1877 года в Берне (где он жил), на обратном пути из Женевы в Прагу. Драгоманов дал мне рекомендательную записку к нему, и Николай Иванович принял меня очень радушно и любезно. Разговор как-то сразу превратился в „лекцию“, которую я прослушал с великим интересом и исключительным умственным наслаждением. Уезжая, я уносил обаяние как от самих лекций, так и от личности „лектора“. Мне казалось также, что я хорошо понял не только мысли и точку зрения Зиберы, но и его самого, как человека глубокой и прекрасной души, великой искренности и правдивости.

Зибер, подобно Драгоманову, был натура этико-нормативного уклада. Как и у Драгоманова, эта нормативность проявлялась, между прочим, в неуклонной моральной требовательности и в психологической невозможности воздержаться от морального суда над ближним, от высказывания „правды в глаза“. В таких случаях он бывал резок и горяч. Он осуждал страстно и беспощадно. Однажды на мой вопрос: „что за человек такой-то (имя рек)?“ — он ответил: „да он даже и не человек!“ — Смягчающих обстоятельств и „законных (в психологическом смысле) прав“ человеческой слабости он во внимание не принимал. Между прочим, он рассказал мне, как, в бытность его доцентом Киевского университета, он однажды счел своим долгом выразить публично свое осуждение ректору университета, всеми уважаемому ученому и общественному деятелю Н. Х. Бунге (не помню уж, по какому делу). Повидимому, филиппика, произнесенная Зибером, вышла настолько резко и потрясающе, что Бунге совсем опешил и только лепетал: „Ради Бога, успокойтесь! Успокойтесь, Николай Иванович!“ — Возмущенный увольнением Драгоманова, он в знак протеста вышел в отставку и уехал за границу.

Резкость и суровость причудливо и трогательно совмещались у Зиберы с исключительной гуманностью, добротой и деликатностью души. Однажды мне самому пришлось выслушать гневные упреки Зиберы. Я рассказал ему о своем знакомстве (в Праге) с известным Дьяковым-Незлобиным, автором нашумевших тогда „пасквильных“ рассказов о нигилистах и революционерах, печатавшихся в „Русском Вестнике“ Каткова. Зибер возмутился и произнес по моему адресу резко, негодующую филиппику:

как мог я общаться с таким человеком? неужели не противно было мне подать ему руку? неужели так мало у меня нравственной брезгливости? и пошел, и пошел... В свое оправдание пробовал я указать на то, что Дьяков — не предатель, не шпион, что он сам эмигрант и живет в бедности, пробавляясь литературным заработком, довольно скудным, что он человек вовсе не падший нравственно, а только несчастный и озлобленный. Вотще! Мои объяснения только пуще раздували гнев Николая Ивановича. Я был задет, смутился и, выждав окончания филиппики, попрощался и ушел. Едва успел я придти в свою гостиницу и снять пальто, как послышался стук в дверь. — „Herein!“ — Вошел Николай Иванович с расстроенным видом человека, обеспокоенного мыслью, что, быть может, он меня обидел. Об инциденте, сколько мне помнится, речи не было, но из нашей беседы само собою выяснилось, что, если я и был задет, то только на минуту и вовсе не сержусь. И было ясно, что у Николая Ивановича отлегло от сердца...

В 1881-82 гг. мы видались нередко в Париже, куда Зибер приезжал заниматься в Национальной Библиотеке. Он изучал тогда литературу о дикарях, задавшись целью проследить процесс возникновения правовых и этических норм на основе экономических условий так называемой „первобытной культуры“. Опять я прослушал ряд импровизированных лекций, представлявших для меня высокий интерес.

К нашему революционному социализму того времени Зибер относился отрицательно, и я хорошо помню его страстные речи по адресу всех тогдашних фракций — „мирных пропагандистов“, „лавристов“, „бунтарей“, „якобинцев“ („Набат“ Ткачева), „бакунистов“. — „Люди они хорошие“, — говорил он, — „но в научном социализме и в политической экономии ровно ничего не смыслят от А до Z! (его излюбленное выражение). Невежды! Утописты!“ На эту тему он говорил с особым увлечением, с большим подъемом, как равно и по адресу противников социализма, либеральных экономистов разных школ и направлений. Помню великий гнев Николая Ивановича по случаю выступления покойного Ю. Г. Жуковского с критикой теории Маркса. — „Я докажу ему, что от А до Z он ничего не смыслит!“ — горячился Николай Иванович.

На события русской жизни он реагировал великим гневом и великою скорбью. Правительственная реакция той эпохи, в особенности же репрессии и казни 1879-81 гг., возмущали его до глубины души. Я видел его плачущим, когда однажды зашла речь о казни С. Перовской, Желябова и др. Террористических актов он не одобрял, хотя и допускал их психологическую — фактическую — неизбежность. Но если при этом предъявлялись слишком радикальные и явно неосуществимые требования, он бывало говаривал: „Будь героем, будь мучеником, если уж на то пошло, но не говори таких нелепостей, что первая попавшаяся баба скажет тебе, что ты *от А до Z* ничего не смыслишь!“ — Не выносил Николай Иванович утопий и всяческого недомыслия в политике...

При иностранном происхождении (он был родом из немецкой Швейцарии и оставался швейцарским гражданином), Зибер, родившийся и воспитавшийся в России (в Крыму и в Киеве), был, можно смело сказать, психологически и *по национальности* коренной и типичный русский человек. Для него всё русское было родной стихией, Россию он считал своим отечеством и любил ее мучительною любовью русского интеллигента. Это не мешало ему последовательно отрицать спасительность так называемых коренных „начал“ или „устоев“ русской жизни. Народничество он отвергал всецело; крестьянская община была, в его глазах, лишь жалким пережитком прошлого, обреченным на гибель. Прогресс России, экономический, политический и всяческий, он связывал с развитием капитализма по европейскому образцу. В этом смысле он был последовательным западником, — и статьи В. В. (В. П. Воронцова, в „Отечественных Записках“), где проводилась та мысль, что у нас капитализма нет, и нет почвы для его развития, приводили Николая Ивановича в то состояние полемической раздражительности, при котором он то и дело прибегал к формуле „от А до Z“... Но вот что для него характерно: он сознательно и систематически воздерживался от полемики с народниками — по чувству деликатности, по правилу „лежащего не бьют“, а также из опасения „сыграть в руку реакции“. По тем же основаниям никогда не выступал он печатно против наших социалистов и революционеров того времени. Строгий к другим, он и на себя налагал вериги нравственных запретов.

В последний раз виделся я с Зибером в 1882 году, в Париже. Он имел вид удрученный и болезненный. Было ясно, что его нервы в конце издерганы и мучительно содрогаются под ударами вестей, шедших из России.

Он гиперболически рисовал себе ужасы реакции и белого террора после события 1 марта 1881 года—и боялся ехать в Россию. „Хоть я и швейцарский гражданин“, говорил он, — „но это ничуть не помешает русскому правительству посадить меня в тюрьму, а то, пожалуй, и повесить!“ — „За что? Помилуйте!“ — возражал я — „ведь вы не революционер, не эмигрант, ни в чем не замешаны“... — „Да просто за направление, за образ мыслей, за дружбу с Драгомановым, за знакомство с эмигрантами“... Он находился в том нервном состоянии, которое я назвал бы приступом политической ипохондрии. Желая его ободрить, я сказал, что вот и мне предстоит скоро вернуться в отечество, и, признаться, я немного побаиваюсь, ибо мои отношения к Драгоманову, Лаврову и другим, конечно, известны нашей жандармерии, а одному господину, который оказался шпионом, я сам преподнес мою брошюру „Записки южнорусского социалиста“. Но при всем том я полагаю, что больших неприятностей мне не предстоит, а может быть и совсем меня не тронут: ведь теперь, кажется, преследуют только активных деятелей революции, в частности террористов, а на „образ мыслей“ уже не обращают столь пристального внимания, как прежде... И вспоминается мне сострадательный взор Николая Ивановича, где сквозило жуткое опасение за будто бы предстоящую мне участь...

С грустью простился я с ним.

Уже в России, в 1883 или 1884 году, узнал я, что он тяжело болен — прогрессивным параличем, и что его привезли в Ялту, к его родственникам, где он медленно угасает.

В 1888 году в далекую Казань (где я тогда жил, состоя профессором университета) пришла весть о его смерти.

Воскрешая в памяти его образ, я с томящей грустью, умиленно думал о том, что этот, столь на вид суровый и строгий человек был наделен душою нежною и болезненно-чувствительною ко всему злу человеческого существования и к тяжелым ударам жизни. И вдруг,

по ассоциации, вынырнули из глубины памяти стихи Лермонтова:

Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их, —
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них...

Помнится, целый день твердил я эти стихи, вспоминая Николая Ивановича Зиберу...

3

ПЕТР ЛАВРОВИЧ ЛАВРОВ

Очень многим в своем идеологическом развитии обязан я М. П. Драгоманову и Н. И. Зиберу и имею право считать себя их непосредственным учеником. Я могу указать по пунктам, что именно воспринял я от них, чему они научили меня, в каком смысле они содействовали обогащению моего внутреннего мира и прояснению моего сознания.

Другого рода перспектива переживаний открывается мне, когда я вспоминаю П. Л. Лаврова. Его непосредственным учеником назвать себя я не могу; я затруднился бы указать по пунктам, что именно почерпнул я из общения с ним, и в каком смысле он повлиял на ход моего общего душевного развития. И однако же память об этом замечательном человеке дорога мне не менее памяти о Драгоманове и Зибере. Я живо чувствую, что общение с Лавровым и частые размышления о нем обогатили мой внутренний мир каким-то новым душевным опытом, которым я чрезвычайно дорожу...

Буду рассказывать по порядку.

В первой главе „Воспоминаний“ я рассказал, как и почему не понравилась мне первая книжка „Вперед“. Теперь я добавлю, что равно не понравились мне и последующие выпуски, и что в частности не по душе пришлось мне те статьи, которые, по моему предположению, принадлежали самому Лаврову. В моем представлении он рисовался как деятель узко-партийный и склонный к фанатизму и кружковой исключительности. В связи с этим, я не поколебался внести в брошюру „Записки южнорусского социалиста“ некоторые полемические выпады против журнала „Вперед“ и программы „лавристов“, на ряду с таковыми же выпадами против „бунтарей“ и „якобинской“ программы газеты

„Набат“. За это мне и досталось с одной стороны от „лавристов“ (в очередном номере „Вперед“), с другой—от „якобинцев“ (в „Набате“). В мою же защиту выступил печатно (не помню, в каком издании) М. П. Драгоманов. Давно забытые „дела давно минувших дней“...

Так вот, когда осенью 1878 года кто то из моих русских знакомых в Париже повел меня к Петру Лавровичу, я шел с чувством некоторого смущения, хотя мне и передавали лестный отзыв его о моей брошюре, относившийся впрочем только к ее внешней—литературной—форме. Мне казалось, что Петр Лаврович встретит меня не совсем благосклонно, как человека другого лагеря („драгомановского“), примет меня сухо, — и добрые отношения едва ли у нас наладятся. Не без смущения вошел я в крошечную переднюю его квартиры, ныне для меня, как и для многих, столь памятной (328 rue Saint Jacques)... Против ожидания, Петр Лаврович встретил меня со всею ему свойственною любезностью, и я сразу понял, что наши разногласия не могут помешать добрым и простым отношениям, для которых требуется лишь одно: чтобы моя личность, независимо от взглядов и направления, оказалась для Петра Лавровича, так сказать, „приемлемою“, достойною его сочувственного внимания. Знакомство завязалось, и очень скоро я убедился, что Петр Лаврович относится ко мне не только с несомненною благосклонностью, но и с некоторым душевным расположением. К моим научным стремлениям и в частности к моим занятиям санскритом он проявлял живое сочувствие. На тему о том, каким образом предполагаю я, именующий себя социалистом, согласовать восточную филологию с „уплатой долга народу“, и речи не было. Вместо того он с очевидным интересом расспрашивал меня о моих научных занятиях и планах, давал советы, предложил свою библиотеку к моим услугам, сочувственно отнесся к предстоявшей мне профессорской карьере. При этом, конечно, было заметно и то, что он очень ценит мою приверженность к социализму. И я был вскоре сопричислен к кругу лиц, ему интимно-близких, так сказать, в двойном качестве—„молодого ученого“ и неопита социализма. К этим двум „качествам“ присоединилось потом и третье: мои литературные опыты 1878-81 гг., при всей их слабости, привлекли заинтересованное внимание Петра Лавровича ко мне, как начинающему писателю, ко-

торый, быть может, со временем разовьется и найдет свое место в русской литературе.

И я, размышляя о Петре Лавровиче, догадался, а потом и отчетливо уяснил себе, что этот большой человек, выдающийся ученый-мыслитель и крупный писатель принадлежит к числу тех щедро-гуманных натур, для которых появление молодого ученого или писателя, „подающего надежды“, есть как бы праздник на их улице. Они всячески стараются поддержать „начинающего“ — добрым словом, советом, рекомендацией, радостно следят за его успехами, огорчаются его неудачами. Я испытал это на себе. Мне посчастливилось встретить на своем жизненном пути ряд лиц (от гимназических учителей до А. А. Потемни), поощрявших мои стремления к науке и к литературе, но у Петра Лавровича эти поощрения были какие-то особенные, согретые глубоким сочувствием, трогательной заботой о данном лице, точно о своем духовном детище. Он не переставал расспрашивать меня о ходе моих занятий, о профессорах, у которых я работал, интересовался возникавшими у меня научными воззрениями, делился своими, давно установившимися, и щедро наделял книгами из своей огромной библиотеки. Когда однажды я сообщил ему, что, кроме санскрита и Зенд-Авесты, я занимаюсь также древнееврейским, — он прямо обрадовался и сейчас же вручил мне „Einleitung“ Bleek'a, того же рода книгу de-Wette и „Mythus bei den Habräern“ Goldzieher'a. Это были первые прочитанные мною книги пропедевтического характера, введшие меня в круг библейских изучений. Почти каждый раз, когда я приходил к нему, он встречал меня вопросом: „как идут ваши занятия?“ за которым следовал другой: „а такая-то книга, недавно вышедшая, есть у вас?“ — „Нет“. — „Так потрудитесь достать ее вон там на четвертой полке, кажется третья справа“. Я доставал и уносил книгу.

Заметив, что я довольно легкомысленно отношусь к предстоящему мне экзамену на магистра, он не раз заводил речь на эту тему: — когда и при каком университете предполагаю я подвергнуться сему неприятному, но неизбежному испытанию? И, наконец, сам, за меня, решил этот вопрос. „Держите экзамен в Москве, у профессора Всеволода Миллера“, сказал он мне, — „приехал Максим Ковалевский, профессор Московского университета и приятель

Миллера. Вот вам карточка, ступайте к нему, — он вам это дело устроит. Да я уже говорил ему, — он вас ждет...”

Я пошел, — и с тех пор (1882 г.) началось мое многолетнее знакомство с Максимом Максимовичем Ковалевским, смерть которого до сих пор так больно отзывается в моей душе...

Решительно не могу припомнить случая, чтобы Петр Лаврович принялся доказывать мне преимущество своей точки зрения в вопросах политики и социализма перед точкой зрения Драгоманова, которую я всецело разделял. Наши разногласия, как бы по молчаливому уговору, замалчивались. С своей стороны, я, также по какому-то инстинкту, относился к социалистической доктрине Петра Лавровича, как относятся к религиозным верованиям ближнего, которые надлежит уважать и не затрагивать. Мне было важнее и интереснее узнать его мнение о той или иной книге по истории культуры или религии, по социологии, по этнографии и т. д. Очень интересовали меня также его всегда умные и нелюдские отзывы о разных писателях и ученых, которых он знал лично или о которых судил по их произведениям. Я любил слушать его рассказы о прошлом. К сожалению, он не был щедр на воспоминания. Лишь случайно, когда приходилось к слову, вспоминал он в том или другом эпизоде, событии, лице и т. д. из эпохи 50-60-х годов. Я слушал, и у меня в душе оседало грустное чувство, подсказывавшее мне мысли в таком роде: вот человек, настоящее место которого — не здесь, в Париже, на rue St.-Jacques 328, а там, „у нас“, в Петербурге, на университетской кафедре, в Академии Наук, в редакции серьезного журнала. Роль лидера социалистической партии ему не к лицу... Он не революционер по натуре. Он не ведет других за собою, а сам идет за другими. В партии он занимает место почетное, но не влиятельное и не ответственное... Революционер должен быть готов жертвовать собою и другими. Петр Лаврович удовлетворяет только первому требованию: собою пожертвовать он может, — жертвовать же другими решительно не способен, для этого он слишком жалостлив, добр и нравственно-щепетилен. Предосторожности и конспиративные хитрости, к которым он прибегал, чтобы не „подвести“, не скомпрометировать своих „легальных“ знакомых, доходили до степени умилительно-смешного. И в то же время,

несомненно, среди окружавших его лиц бывали и шпионы. Невольно думалось: нет, не на своем месте этот большой человек, и кажется, как будто он сам в глубине души чувствует это, — и его гложет некий червь... Как хорошо было бы, если бы он, оставаясь социалистом и живя эмигрантом (раз уж обстоятельства так сложились), мог удовлетворяться ролью независимого, внепартийного мыслителя! Его авторитет в таком случае был бы гораздо выше, его влияние — шире, глубже и благотворнее...

Так казалось мне, так думалось, — и неизменно печалью и жалостью сопровождалась у меня эти думы. И эти чувства в сочетании с моим глубоким уважением к Петру Лавровичу, как к человеку, и преклонением перед его огромным умом и необъятными знаниями, образовали тесную и прочную ассоциацию. В свете или в сумраке этой ассоциации чувств до сих пор и выступает в моей памяти образ Петра Лавровича...

В „мое время“ (1878-82 гг.) в Париже вокруг Лаврова группировались лучшие люди русской эмиграции. Тут были Герман Лопатин (впрочем, вскоре уехавший в Россию, где и был арестован), Н. П. Цакни, Аитов, Н. В. Чайковский, Л. К. Бух и др. К кружку примыкали и другие лица, не принадлежавшие к числу эмигрантов, а также студенты и студентки. Петр Лаврович был окружен людьми, высоко ценившими его, искренно к нему расположенными и ему симпатичными. Часто наезжали из России писатели, ученые, общественные деятели, которые, не разделяя социалистических идей Лаврова и не одобряя его революционной деятельности, относились к нему с большим уважением, как к мыслителю и писателю, и с искренней симпатией, как к человеку. Из числа таковых упомяну о М. М. Ковалевском и П. Д. Боборыкине. М. М. Ковалевский пользовался исключительным расположением Петра Лавровича и с своей стороны относился к нему с трогательной внимательностью и редкой заботливостью, всегда готовый оказать ему услугу или сделать что-нибудь приятное. Приезд Максима Максимовича был для Петра Лавровича настоящим праздником.

Здесь будет у места припомнить то, что однажды сказал мне Максим Максимович: — „вы знаете, как я люблю и уважаю нашего „полковника“ (так заочно величали Петра Лавровича). Но представьте себе, в половине 70-х го-

дов, когда я еще не был знаком с ним, его заграничные революционные статьи произвели на меня столь удручающее впечатление, что я даже отказался было познакомиться с ним. Меня возмущало то, что такой человек, как Лавров, пользуется своим авторитетом, чтобы сбивать с толку молодежь, поощряя ее „идти в народ“, а оттуда в тюрьму и на каторгу. Но когда я наконец познакомился с ним и ближе узнал его, этот „грех“ я простил ему. Молодежь и без того „шла в народ“, а „полковник“ оказался человеком, всего менее склонным „подводить“ кого бы то ни было. С тех пор мы с ним в наилучших отношениях“...

Этот случай можно назвать в своем роде типичным: чтобы оценить и полюбить Лаврова, чтобы преисполниться уважением и пиэтетом к нему, нужно было одно: познакомиться с ним лично, узнать его ближе. Что же касается его революционных статей с призывом „уплатить долг народу“, идти в народ с проповедью социалистического евангелия, то они не должны быть принимаемы в соображение при оценке нравственной личности Лаврова. Они могут служить только для характеристики его деятельности как революционера-идеолога, который невольно подчинялся наводнению или гипнозу властных идей времени.

Это возвращает нас к суждению о Лаврове как „лидере“ партии. Он не стоял на высоте задачи. Его роль, как партийного деятеля и еще более как „вождя“, была в сущности фиктивной. Так смотрели многие из лиц к нему близких. Другой вопрос:—сознавал ли он сам эту фиктивность и, если сознавал, то почему мирился с нею? Мне лично казалось и кажется, что он сознавал ее и столь же сознательно мирился с нею. Психологически дело представляется мне в следующем виде.

Ученый и мыслитель, теоретик по складу ума, эрудит, влюбленный в книгу, он однако не мог обойтись без иллюзии „партийной деятельности“, без связей с кругами лиц, ведущих „борьбу за идеал“. Он живо ощущал потребность быть в курсе перипетий этой борьбы, сочетать теорию с практикой, служить одновременно „правде-истине“ и „правде-справедливости“, причем служение этой последней только словом, пером казалось ему недостаточным, — он стремился служить ей делом. И не смущался тем, что это „дело“ выходит каким-то „ненастоящим“, призрачным,

являясь только психологическим суррогатом дела. Этот суррогат был нужен ему — „для души“. Он был нужен ему вдвойне: с одной стороны — как противовес тягостному чувству одиночества, а с другой — как постулат присущей ему „психологической религиозности“.

То и другое одинаково важно для понимания сложной натуры Лаврова: здесь ключ к тайникам его психологии.

Есть люди, которым „социальное одиночество“ не тягостно. Таких людей нельзя назвать вполне нормальными: крайности психологического индивидуализма, это уже уклон от нормы, ибо человек прежде всего существо социальное. Лавров был натура нормальная и здравая, и потому, при всем своеобразии его личности, крайности индивидуализма, приводящие к аполитизму и к социальному одиночеству, были чужды ему. Вне живых связей с общественной средой он чувствовал бы себя слишком одиноким со всеми своими книгами. И чем больше разрасталась бы библиотека, заполняя всю квартиру, тем ужаснее казался бы ему призрак одиночества в этой книжной могиле. Один! Отрешен от жизни, забыт, замурован... Он не принадлежал к числу тех несчастных или тех счастливых, социальное чувство которых, наполовину атрофированное, вполне удовлетворяется одним сознанием, что они находятся среди людей, проживают в обществе — как в гостинице. Для Лаврова круг близких друзей, единомышленников, соратников был существенно-необходим. Этого настойчиво требовали его живые социальные инстинкты. И когда эта потребность так или иначе удовлетворялась, тогда его жизнь с книгами уже не омрачалась призраком одиночества. Как отрадно углубиться в книгу, в умственную работу, если знаешь, что вот придут близкие, симпатичные люди и поведают секреты очередного революционного предприятия, попросят совета, содействия! В противоположность большинству „кабинетных ученых“, которые не выносят помехи и перерыва в работе, Петр Лаврович за письменным столом и среди своих книг не „священнодействовал“ и не обнаруживал неудовольствия или досады, когда, например, заставляли его оторваться от занятий и ехать на „конке“ (электрических трамваев тогда еще не было в Париже) на противоположный конец города для свидания с таким-то, для хлопот о таком-то. С каким наслаждением примется он за прерванную работу, исполнив

„партийный долг“, послужив „делу“! Живые связи, живая деятельность... Я видел, как в таких случаях Петр Лаврович оживлялся, как он — я сказал бы: *хлопотливо-весело*, или *озабоченно-радостно* суетился...

Замечал я также, как *лестно* было ему „представительствовать“ от имени партии, и с каким серьезным видом, внутренне сияя, шел он бывало во главе „делегации“ к тому или другому видному политическому деятелю или министру. По временам таких хлопот выпадало на долю Петра Лавровича немало, и было видно, что он чрезвычайно дорожит ими: он *нужен*, не забыт, „не в отставке“... А там, смотришь, придут вести из России, явится письмо, конспиративно написанное, присланное с оказией, придет „делегат“ от партии и сообщит нечто важное, секретное... Это для Петра Лавровича как бы праздник, в своем роде столь же радостный, как в другом роде было радостным праздником появление Максима Ковалевского, наполнявшего квартиру шумным разговором и веселым смехом и увлекавшего „полковника“ в ресторан, где за обедом сообщал уйму новостей и слухов...

Таким образом Петр Лаврович имел возможность не считать себя социально-одиноким... Но мне казалось, что где-то в глубине души некий червь сомнения все-таки подтачивал социальное самочувствие Петра Лавровича...

А когда революционные деятели второй половины 70-х годов и начала 80-х сошли со сцены (одни погибли, другие томились в тюрьмах, на каторге и в ссылке), и когда поредел круг Парижских друзей, тогда уж не мог Петр Лаврович не испытать гнетущего чувства одиночества.

В 80-90-х годах осталось в Париже всего, может быть, три-четыре человека, в общении с которыми Петр Лаврович мог отвести душу. Из них первое место принадлежало Н. С. Русанову, высоко ценившему Петра Лавровича и пользовавшемуся его искренним расположением. Новые же пришельцы в эмигрантской среде, продолжавшие в 90-х годах традицию революционного движения, не могли для Петра Лавровича заменить прежних. И когда, приехав в Париж на несколько месяцев в 1890 году, я видел его в этом новом кругу, мне казалось, что на сей раз „полковник“ остался без „полка“, что старик одинок больше, чем когда либо... Грустно и жалостно жи-

малось мое сердце и я вновь предавался меланхолическому раздумью...

На ряду с потребностью живых социальных связей и со страхом одиночества действовала и пружина *психологической религиозности*. При всем своем давнишнем атеизме и философском материализме Лавров был бесспорно натурой психологически-религиозной. Особенностью таких натур служит то, что у них с потерей веры в Бога и в церковь отнюдь не исчезает порядок религиозных чувств, которые только переносятся на другой объект: на идеал, на политические убеждения, на философскую идею, моральную догму и т. д. Этот новый объект является для них не только, как для других людей, просто предметом размышления, изучения, умственного интереса и т. д., но и предметом *веры, надежды и любви* и образует род *заветной святыни*. И вместе с тем в их отношениях к этой святыне так или иначе проявляются *догматические приемы мышления*. Убеждение, взгляд, вывод психологически сбиваются на догму. В огромном уме Лаврова вообще склонность к догматизму была выражена довольно ясно: как философ, он был превосходный догматик и систематик. Законченность, последовательность, закругленность системы были сильнейшею стороною его мышления. Между таким укладом философской мысли и типом мышления религиозного в тесном смысле есть несомненное психологическое родство. Ибо религиозное чувство, при всей своей иррациональности, проявляется у верующих в области мысли „положительным религиозным знанием“, которое и есть то, что принято называть „*верю*“. Религиозно-верующий *знает* своего Бога, *знает* его заповеди, *знает* догматы вероучения, — и все это образует замкнутую и завершенную *систему* понятий, безраздельно господствующую над мыслью, чувством и совестью человека. Если эту систему изложить, то непременно придется поставить в конце точку, а не другой знак препинания (в особенности не годилось бы многоточие). Сказано—и баста. Und damit Punktum. Не трудно представить себе аналогичную картину мысли—без Бога, без Откровения, без богословской догмы, замененных другими объектами, — идеей, идеалом: человек, сохранивший религиозно-догматическое отношение к этим заменам или суррогатам, будет *знать* своего „бога“, *знать* соответственные „заповеди“ и догмы, кото-

рые и составят завершенную систему понятий, властно заправляющих мыслью, чувством и совестью человека. И опять точка в конце системы. Замкнутый круг... Приблизительно так и было у П. Л. Лаврова. Социалистический идеал был для него не просто социально-политической идеей, ценность которой весьма условна и зависит от ее осуществимости и пригодности для дальнейшего прогресса человечества. Эта была как бы святыня, ценная сама по себе, в самой себе заключающая свое оправдание. Огромный талант философской систематизации дал возможность Лаврову превратить ее в законченную, стройную *доктрину* не хуже любого вероучения. Но любопытно отметить, что к этой доктрине он относился вовсе не доктринерски. Его отношение к ней было совсем другое и двоякое: *психологически-религиозное* и *философское*. Не будучи доктринером по складу ума, Лавров не был и *фанатиком*. Для фанатизма мысли он был слишком мудр, и *гуманен* и слишком перегружен ученостью. Строгая последовательность, принципиальность, моральная строгость совмещалась у него с разумной терпимостью и прирожденным добродушием. От него так и веяло благожелательностью, приветливостью, сочувствием. С духовным обликом этого необыкновенного человека у меня связалось представление об *истинном мудреце не от мира сего*, снисходительно, „по человечеству“, приемлющем „сей мир“, — мудреце со всеми преимуществами и всеми слабостями человеческой мудрости. Широта воззрения, глубина мысли, творчество в идеологии умирительно совмещались в большой и доброй душе Лаврова с наивностью в политике, с детской беспомощностью в жизни. Если бы покойный Г. А. Лопатин удосужился рассказать в печати, со всеми подробностями, как он похитил Лаврова и препроводил его из русской ссылки в столицу Франции вместе с его огромной библиотекой, читатель получил бы наглядное представление о Лаврове как ярком представителе *наивно-мудрого типа*. Но с особой яркостью сказались черты этого типа в тех суррогатах, какими Лавров старался удовлетворить запросам своей психологической религиозности. Для него понятие *партии* сбивалось на понятие *секты*, и партийный деятель, революционер, превращался в *проповедника*, в „*евангелиста*“, в „*великомученика*“. Отсылаю читателя к соответственным страницам статей в журнале

„Вперед“ и „Исторических писем“, в особенности к последней главе („Теория и практика прогресса“). П. Л. Лаврову было психологически невозможно обойтись без тесного круга единомышленников, соратников по социализму. Ему необходимо было принадлежать к действующей партийной группе. Пока такая группа в самом деле состояла из людей высокого строя души, из лучших людей времени, Петр Лаврович мог действительно чувствовать себя в партии приблизительно так, как верующий чувствует себя в кругу единоверцев, в своей „церкви“. Но как для меня, так и для многих оставалось загадкой, как мог Петр Лаврович дорожить своим положением в партии после того, как умственный и культурный уровень окружавших его лиц настолько понизился, что, казалось бы, Петру Лавровичу в такой группе отнюдь не пристало играть роль „вождя“. Но он продолжал играть эту роль и поневоле мирился с невысоким уровнем „личного состава“ группы за неимением лучшего. Разгадки нужно искать в одном — в психологической невозможности для Лаврова остаться без группы „верующих“, служить своему „богу“ в одиночку, вне „церкви“, какая есть. Таким образом, внушения психологической религиозности проводили к тому же, к чему побуждала Лаврова боязнь одиночества. Роль независимого, внепартийного мыслителя, которая так подошла бы ему, была для него — по этим двум основаниям — психологически неприемлемой. После всего изложенного читателю должно быть ясно, почему я затрудняюсь указать по пунктам, чему именно научился я у Лаврова. Вместе с тем читатель поймет, что общению с Лавровым я обязан высоко-ценным душевным опытом. И то, что я вынес из этого опыта, является для меня интеллектуальным и моральным благом высшего порядка.

В 1890 году я провел несколько месяцев в Париже. После восьмилетней разлуки, с особым чувством радости, смешанной с долей грусти, поспешил я к Петру Лавровичу. Он показался мне постаревшим, но по-прежнему бодрым и деятельным. Однако яснее, чем прежде, чувствовалось печальное веяние одиночества. В эти годы Петр Лаврович отводил душу, главным образом, в семье Русановых, в обществе И. И. Мечникова и немногих других. Круг лиц был избранный, но это были отдельные лица, а не среда, как в былое время... Я заходил к Петру Лавровичу до-

вольно часто. Изредка и он бывал у нас. И как в прежнее время, он осведомлялся о моих занятиях, давал книги, делился мыслями. Только что вышел тогда из печати огромный первый том его „Истории мысли“, напечатанный в Женеве, капитальный и превосходный труд, единственный недостаток которого в том, что он был издан за границей, а не в России, вследствие чего и остался библиографической редкостью, неизвестной даже специалистам. Я получил экземпляр от автора и мог воспользоваться его устными разъяснениями по вопросам первобытной культуры и архаического мышления, составившими содержание первого тома. Петру Лавровичу не суждено было продолжить этот труд, на который он смотрел как на заветное и главное научное дело своей жизни...

Перед отъездом пошел я к Петру Лавровичу попрощаться, — может быть, надолго. Но это было наше последнее свидание. Через 10 лет я увидел его в гробу. Он умер накануне моего приезда в Париж, в январе 1901 года. Помню похороны гражданские и „революционные“, с участием нескольких сот французских рабочих, певших хриплыми голосами „рабочую марсельезу“ и пытавшихся выкинуть красный флаг, в те времена запретный в республиканской Франции. Процессия была оцеплена огромным рядом полиции, и были столкновения... Печально и жалостно сжималось мое сердце. И я, человек неверующий и психологически нерелигиозный, следуя за процессией, думал о том, что не так бы и не здесь подобало хоронить Петра Лавровича... Я мысленно представлял себе его похороны в Петербурге: отпели бы, как подобает, и похоронили бы русского мыслителя по заведенному порядку на „литературных мостках“ Волкова кладбища, в исторической усыпальнице великой русской литературы, среди родных могил, возле Белинского, Добролюбова и Тургенева...

4

МАКСИМ МАКСИМОВИЧ КОВАЛЕВСКИЙ

Первое впечатление было такое: это — типичный русский барин, хороший и добрый, умный и либеральный, истый европеец, которому чуждо многое специфически-русское в нашей духовной культуре, в традиционной со-

кровищнице наших идей. Из беглого, отрывочного разговора сразу стало ясно, что среди наших направлений Максим Ковалевский занимает особое место независимого ученого и прогрессивного деятеля, относящегося как бы свысока или с некоторою „легкостью“ к именам и книгам, для русской передовой интеллигенции дорогим и заветным. Видно было, что Белинский, Добролюбов, Чернышевский не значатся в родословной его духа. „Вот интересный человек“, думалось мне, „умудрившийся воспитаться в России по-иностранному, человек европейски просвещенный, но чуждый русскому идеологическому развитию, духовный потомок „вольтерьянцев“, русских европейцев XVIII века“...

Это первое впечатление оказалось, в общем, правильным и в значительной мере подтвердилось в течение моего многолетнего близкого знакомства с Максимом Максимовичем. На его похоронах я думал: „да, есть символический смысл в том, что он будет почивать вечным сном вот здесь, на кладбище Александро-Невской лавры, а не там, на „литературных мостках“ Волкова кладбища“...

Признаюсь, указанная черта Максима Максимовича на первых порах поразила меня довольно таки неприятно. Потом это неприятное чувство смягчилось и наконец почти исчезло, когда я ближе узнал Максима Максимовича и получил возможность, взвесив его плюсы и минусы, оценить по достоинству положительные качества его ума и его характера. Но факт остается фактом: наш Максим, при всей своей учености и широком образовании, не умел разбираться в тех течениях нашей идеологической мысли, которые легли в основу нашей духовной культуры. Знаменателен тот факт, что его последняя статья, напечатанная в 1913-14 гг. в „Вестнике Европы“, явила яркое доказательство его органической неспособности понять психологию и жизненное значение наших идеологий от шеллингианства 20-30-х годов до народничества 70-80-х, от князя Вл. Ф. Одоевского до Михайловского и Лаврова. Эту неудачную статью я читал с таким же неприятным чувством, какое шевелилось во мне при первом знакомстве с ее автором. Конечн сошелся с началом. Но на сей раз это чувство только вынырнуло, чтобы сейчас же растаять и сойти на нет в моей общей, долгими годами упрочившейся высокой оценке личности Максима Ковалевского. „Барственность“ Максима Максимовича сама по себе меня не шокировала.

Я знал этот психологический тип и всегда ценил его положительные стороны, столь ярко выступающие при наличии добрых качеств души, образования и высших интересов. Это — тип русского просвещенного и высококультурного человека, вышедшего из среды старого барства, сыгравший в свое время, в эпоху дореформенную, крупную роль в развитии нашей общественной мысли да и всей нашей духовной культуры и не без успеха продолжавший доигрывать ее и при новых условиях, в эпоху пореформенную. К этому социально-психологическому укладу натур принадлежали многие из декабристов и сам Пушкин, а позже — Аксаков, Киреевские, Герцен, Тургенев и Л. Н. Толстой.

Максим Ковалевский был ярким представителем „барственного“ психологического типа в одном из лучших его выражений, но только без русской идеологической „подоплёки“ и без потребности эту „подоплёку“ прочувствовать и уразуметь.

Но это не мешало ему высоко ценить русскую художественную литературу. Он был почитателем Тургенева и Толстого, Писемского, Салтыкова и Гл. Успенского, которых знал лично, — и, повидимому, именно личное знакомство и служило ему немаловажным подспорьем для надлежащей оценки художественной силы и литературного значения этих писателей. Исходить в этой оценке из других точек зрения — чисто-художественной, психологической, историко-литературной, он, повидимому, не умел... Следил он, по мере возможности, и за новейшей русской литературой, но не всегда удавалось ему разбираться в ее течениях, и порою он забавно смешивал, например, Арцыбашева с Сологубом, таланту которого, при всем том, отдавал должное. Его отзывы о прочитанном были большею частью правильны и всегда умны. Но можно сказать так: нашу художественную литературу, классическую и новую, он „чувствовал“ не вполне на русский лад: видно было, что с детства он воспитался на иностранных образцах.

На фоне лучших черт русской „барственности“ и русского европеизма с необыкновенной привлекательностью выступали индивидуальные особенности ума и натуры Максима Ковалевского. Он сразу очаровывал умом, рожденной добротой души, радушием и приветливостью, натуральною и воспитанною гуманностью. И все это сли-

валось в компактный душевный сплав, элементы которого взаимно дополняли и усиливали друг друга, так что ум казался добрым, а доброта умной, барственность гуманной, гуманность барственной. Нельзя было не любоваться им, не подчиниться его обаянию, не привязаться к нему всем сердцем и всей душой.

Много было в нем здоровой жизненной силы, которая на всех его знавших действовала животворящим образом. Как-то легче, бодрее жилось в его обществе. Его появление было событием, праздником: его отъезд оставлял пустоту, и тусклее казались будни жизни. — „Вот скоро приедет Максим Ковалевский!“ — „Максим приехал!“ — говорили оживленно и радостно. — „Уехал наш Максим“ — говорили с грустью. И его смерть отразилась в душе его многочисленных друзей, знакомых, учеников, почитателей не только скорбным чувством утраты, но и унылым ощущением ущерба радости жизни.

Максим Ковалевский очаровывал так же искрящеюся веселостью, блеском ума и волшебством разговора. Это был настоящий мастер и виртуоз остроумной, всегда интересной беседы с меткими характеристиками, добродушным задором, саркастическими выходками, под акомпанимент доброго смеха, каким обычно смеются толстяки. — „Был здесь (в Париже) проездом Ковалевский (толстый)“ — читаем в одном из писем Тургенева — „этот по-прежнему умен и зол“. Он, действительно, был „зол“ — на язык. Его „злые“ отзывы были чрезвычайно забавны, и, казалось, тот, к кому они относятся, сам расхохотался бы веселым смехом. Максим был мастер иронии — колючей, но не обидной и только сдобривавшей беседу. — В его обхождении, манерах, речи было что-то своеобразно-общительное и заразительное. Когда он говорил, а другие слушали с улыбкой и смехом, это не производило впечатления монолога: казалось будто все участвуют в „творчестве“ его речи. Он умел выслушивать, не мешал говорить другим, не перебивал (как это часто бывает в наших — русских — разговорах и спорах), и в его беседе всегда чувствовалось что-то „джентльменское“, не говоря уже о неизменном проявлении ума и такта. — В самом тембре его голоса, в модуляциях его плавной фразы, в приветливости его улыбки, в заразительности смеха проявлялась захватывающая и увлекающая сила природы, „социальной по пре-

имуществу“, экспансивно - общительной, психологически щедрой.

Последние тридцать пять лет его жизни (1881 — 1916), в течение которых я знал его, распадаются на три периода: 1) профессура в Московском университете, до 1887 года, когда он лишился кафедры; 2) жизнь за границей на положении добровольного изгнанника, с частыми наездами в Россию, до 1905 г.; 3) период кипучей деятельности в России — политической, общественной, профессорской, ученой, литературной (1905-14).

Первый из этих периодов был, судя по всему, самой блестящей порою его деятельности. В Московском университете, в ту эпоху столь богатом учеными силами и выдающимися дарованиями, он занимал одно из первых мест. Это было время расцвета его духовных сил. В университетских и литературных кругах он был общий любимец и „баловень“. Среди учащейся молодежи и разночинной передовой интеллигенции он был чрезвычайно популярен. Помимо его яркого дарования как лектора, этой популярности много способствовала *независимость его характера и образа мыслей*. Никогда никому он не угрожал, ни перед кем не заискивал, ни перед начальством, ни перед учеными и литературными авторитетами, ни перед молодежью. Он не искал популярности, — она сама шла за ним, достигая той высоты, на которой она превращалась в славу. И надо отдать ему справедливость: этой славы он вполне заслуживал, и в ее лучах его умная голова не закружилась, — самомнение и тщеславие были и остались совершенно чуждыми ему. Он неизменно оставался человеком скромным, не преувеличивал своих заслуг и качеств, отдавал должное другим. Мне чрезвычайно нравилось в нем то уважение, с каким он относился к заслуженным деятелям русской науки (например, к Потембне, Буслаеву, Тихонравову, юристу-канонисту Павлову и др.), а равно и к сверстникам, еще проходившим первую стадию ученой карьеры (например, к Вс. Ф. Миллеру, Ф. Ф. Фортунатову, И. И. Янжулу, И. И. Иванюкову, П. Г. Виноградову и др.). И много в этой последней среде было у него друзей „на ты“, искренно его любивших. Для совсем молодых, „начинающих“ ученых он был — отец родной, всегда готовый поддержать, поощрить, хлопотать, рекомендовать. Я испытал это на себе. В период, когда наш

Максим остался не у дел в России, он развил обширную ученую и преподавательскую деятельность за границей: работал в архивах Франции, Италии, Испании, собирая материал для своих ученых работ, читал лекции в Стокгольме, Париже, Оксфорде, Брюсселе, даже в Америке, и напечатал ряд трудов, в том числе монументальные исследования по истории экономического развития Европы и по истории демократического строя во Франции. За это время он приобрел широкую и почетную известность в ученых и политических кругах Европы и Америки. Русский ученый, устранный от кафедры в своем отечестве, стал культурным „гражданином мира“, „аккредитованным представителем“ передовой, мыслящей России в умственных центрах Европы. И ему, как „русскому европейцу“ по натуре и воспитанию, эта роль подходила как нельзя лучше. И, после Герцена, Тургенева, Толстого, Достоевского и рядом с Мечниковым, Лавровым, Кропоткиным, Чайковским, он по-своему весьма много содействовал престижу русской умственной культуры за границей.

И, как раньше московские лавры, так и теперь мировая известность не вскружила умной головы Максима. Он оставался все тем-же простым и скромным человеком, знающим себе цену, но чуждым всякого самомнения, самообольщения и тщеславия, каким мы знали его в России.

Последний—петербургский—период его жизни в памяти у всех. Максим в эти тревожные годы был, можно сказать, великолепен — в Государственной Думе первого созыва, в Государственном Совете, и неутомим на поприщах общественной, просветительной, культурной деятельности. Всюду являлся он центральной фигурой, вокруг которой группировались деятели разных рангов и всех прогрессивных направлений, и, по-прежнему, это был все тот же „наш Максим“, непритязательный и простой, жизнерадостный и обаятельный.

С 1912 года, когда устроилось мое ближайшее сотрудничество в „Вестнике Европы“, мои старинные отношения к Максиму Максимовичу, как доброму знакомому, упрочились совместной работой по журналу. Я имел возможность чаще видеть его, ближе присмотреться к нему, — и теперь основная моральная черта его характера, которую я давно знал и высоко ценил, выступила передо мною в новом освещении и во всей ее привлекательности. Это именно

натуральная, прирожденная честность души, отсутствие психического лицедейства, или какой бы то ни было замаскированности. Ничего не было в нем искусственного, показного: в его внешних проявлениях, в поступках и словах, в достоинствах и недостатках, — во всем выражалась открыто, просто и полностью настоящая суть его души, подлинный уклад его природы. Он не умел скрывать своих слабостей, неспособен был обходить молчанием свои ошибки или промахи, как житейские, так и научные и литературные, — всякая „симуляция“ и „диссимуляция“ была органически чужда его открытой душе. Максим прежде всего был человек натуральный и цельный, можно сказать — непосредственный, без яда рефлексии, без философического раздумья, умница без мудрования, остроумный без остроумничанья. В его вечной улыбке, которую ему, видимо, трудно было прогонять с лица, в его частом смехе произвольно отражалась присущая ему подлинная жизнерадостность души: ни в улыбке, ни в смехе не было ничего искусственного, ничего условного. Смех был истовый, нутряной, благодушный. Улыбка была приветливая, добрая. И характерно то, что, при большом даре иронии и сарказма, у Максима совсем не было, так сказать, „искусства“ остроумия: ни игры слов, ни нарочитых острот, ни „словечек“. И здесь не было у него ничего „на показ“.

„Вот он я, весь тут“, — всем своим обличем говорила его громоздкая, благодушная фигура веселого толстяка, взирающего мудро-наивно, с миною bon enfant, на жизнь людей, — да и на себя самого...

5

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ ПОТЕБНЯ

До 1884 года, когда я познакомился с А. А. Потебней, я имел о нем готовое, давно установившееся представление, очень высокое, но, как вскоре я убедился, совершенно недостаточное. Выдающийся ученый, отличный специалист, признанный авторитет, настоящий человек науки, требовательный к себе и другим, повидимому — строгий и суровый, и в придачу характер прямой и независимый, — вот в каких чертах рисовалась мне личность Александра Афанасьевича в течение многих лет, от времен студенческих до зимы

1884-85 г., когда я, приват-доцент Новороссийского университета, приехал в Харьков, чтобы здесь подвергнуться наконец испытанию на степень магистра сравнительного языкознания и санскрита и представить уже готовую диссертацию („Опыт изучения вакхических культов индоевропейской древности“, ч. I). Эту книгу я послал ему за полгода перед тем и, признаться, с некоторым страхом ожидал его отзыва: мне думалось, что этот отзыв окажется отрицательным, и, пожалуй, я, в качестве „начинающего ученого“, „провалюсь“ в нелюбимом мнении Александра Афанасьевича. Дело в том, что в этом моем первом ученом произведении было немало ошибок и досадных промахов, которые могли бы даже послужить препятствием к допущению книги к защите. Не без смущения вошел я во двор дома № 4 по Подгорной улице, не без трепета позвонил у парадных дверей и с пущим приливом застенчивости вступил в кабинет знаменитого ученого. Высокий, худой, болезненного вида человек с сильной проседью, с матово-бледным, но истинно-прекрасным, одухотворенным лицом мыслителя, встретил меня сдержанно-просто и сказал лаконически: „получил вашу книгу и послал вам свои“. Действительно, несколько месяцев перед тем я получил некоторые из его ученых трудов. Я поблагодарил, и как-то вдруг мои опасения стали рассеиваться, — мне показалось, что я еще не „провалился“. И даже смутно чувствовалось мне, что здесь, в этом кабинете, я — желанный гость. С приятным изумлением я ощутил в себе отлив застенчивости. Мне думалось: вот ученый, несомненно суровый, строгий и требовательный, но только без профессионального педантизма, умеющий, когда нужно, быть снисходительным, „по человечеству“, а когда именно это „нужно“, он определяет это каким-то чутьем, мгновенно и безошибочно, чутьем ума и гуманности. Разговор был недолгий и отрывочный, разговор первого знакомства, с моей стороны все еще не лишенный некоторой неуверенности (несмотря на „отлив“), — сдержанный, но благожелательный с его стороны. Я отметил при этом характерную для Александра Афанасьевича черту, которую я знал по его научным трудам, — *лаконичность выражения, сжатость речи*. Не тратить лишних слов — было его лозунгом...

После этого первого визита я стал догадываться, что мои представления об Александре Афанасьевиче, при всей

их высоте, недостаточны. Это человек особенный, — думал я, — в нем чувствуется великая сила духа, высокий строй души, и все такие определения, как „выдающийся ученый“, „признанный авторитет“ и т. п., в отношении к нему сами собой подразумевающиеся, ничего не говорят о подлинной сути его ума и натуры.

Сдав магистерский экзамен в январе 1885 года, я уехал в Одессу, чтобы вернуться в Харьков весной, на Фоминой неделе, — для защиты диссертации, если она будет принята. Кафедру сравнительного языкознания и санскрита занимал тогда в Харьковском университете известный лингвист, знаток множества всевозможных языков (в том числе и таких, как китайский, кажется готтентотский и даже воляпюк) покойный Викентий Иванович Шерцль. Он отнесся ко мне с некоторой благосклонностью. На основании его отзыва диссертация была принята. Незадолго перед этим, в „Archiv für Slavische Philologie“ Ягича появилась рецензия на мою книгу, написанная самим И. В. Ягичем, как всегда, умная, меткая и строгая. В ней были надлежаще оценены все мои этимологические прегрешения. Два-три добрых слова, в поощрение начинающему ученому, лишь отчасти смягчили суровость отзыва. — „Вот, кстати, получена книга Archiv'a Ягича“, — сказал мне Александр Афанасьевич — „там есть и рецензия на вашу книгу, прочитайте-ка“. Я тут же прочитал и смущенно спросил, краснея: „Скажите, не может ли эта рецензия, вполне справедливая, послужить препятствием к допущению моей книги к защите?“ — „О, нет“, — ответил Александр Афанасьевич, — „диссертация будет принята“.

Диспут прошел гладко. Первый оппонент профессор В. И. Шерцль не был придирчив, а второй А. А. Потенция, начал приблизительно так: — „Ваша книга мне симпатична, но я упрекну вас в том, что вы слишком категоричны в ваших суждениях и выводах: вы их излагаете так, как будто это уже добытая истина, а между тем наука готовых истин не знает, кроме „самоочевидных“, вроде математических аксиом. К сожалению, у всех нас глубоко укоренилась привычка принимать свои мнения за „истину“ и выдавать их за нечто подобное догмату. Так называемые „истины“ науки не догматичны, — они всегда условны и в той или иной мере приближаются к типу гипотез“... После нескольких замечаний по отдельным вопросам, о которых тракто-

вала диссертация, он наконец перешел к самому слабому ее месту, к моим злополучным этимологическим выкладкам: „у вас найдется в книге несколько неудачных этимологий, например вот на странице такой-то такие-то. Но во втором издании вы сами их легко исправите“. Диспут окончился, и я получил искомую степень магистра.

Снисходительность Александра Афанасьевича глубоко тронула меня. Тронуло и то радушие, с которым я был принят в его доме. Он и его супруга Мария Францовна, когда я уезжал в январе, пригласили меня остановиться на Фоминой у них. Воспользовавшись этим приглашением, я имел возможность в течение нескольких дней войти в обиход их домашней жизни и ближе, запросто, среди семейной обстановки присмотреться к самой личности Александра Афанасьевича. Две черты, как-то сами собою, выступали вместе с умом призванного мыслителя: *независимость характера и суждений и неусыпный моральный протест*, — протест всесторонний, идущий вглубь и вширь: против политической и общественной реакции, против человеческой дряблости и пошлости, порчи нравов, невежества, мракобесия, лицемерия, глупости... Передо мною очерчивалась морально-нормативная натура огромной силы, уравнивающая огромную силу творческого ума. Говоря терминами Канта, „практический разум“ (мораль) Потемни сливался в одно гармоническое целое с его „теоретическим“ разумом. Разум казался глубоко моральным, а мораль высоко-разумной. В сиянии этого психического синтеза чарующе выступал образ необыкновенной духовной красоты, наглядно олицетворявшейся в благородной красоте внешности.

Так я „чувствовал“ А. А. Потемню. Так „чувствовали“ его и все, кто его знал и кто был способен „почувствовать“ интеллектуально-моральную силу и гармонию его души. И у меня, как и у других, в отношении к этому человеку как-то само собою сложилось внутреннее, безотчетное убеждение в том, что те обыкновенные чувства уважения, удивления, симпатии, приверженности и т. п., какие мы питаем к людям, в *обычном смысле* выдающимся, одаренным высокими, но не так уж редко встречающимися качествами ума и души, для Потемни должны быть признаны совершенно недостаточными: *он был выше всего этого*. Упомянутые чувства уважения, симпатии и т. д. нейтрализо-

вались, распускались в каком-то другом, особенном чувстве, какого не может вызвать в нас самый выдающийся, самый обаятельный „обыкновенный смертный“. В Потепне чувствовался *смертный необыкновенный*. И в связи с этим у всех его „чувствовавших“ как-то сразу возникало странное, парадоксальное самочувствие — *простоты и легкости* в общении с ним, вроде того, какое мы испытываем в „общении“ с великими людьми, отошедшими в вечность и вечно-живыми в их творениях. Нам „легко“ с ними, — мы их не сравниваем с собою, мы их только „принимаем“ как факт особого порядка, как „явление чрезвычайное“. Вот так и тут: при самой жизни Потепни мы „чувствовали“ его не как человека, подлежащего сравнению и оценке, а именно как „явление чрезвычайное“, — и в общении с ним всем нам было как-то особенно хорошо, по-особенному отрадно, „легко“ и „просто“, не так легко и просто, как с „своим братом“, а так, например, как с Кантом, Гёте, Пушкиным.... Не умею лучше выразиться, но уверен, что все лично знавшие Потепню поймут мою мысль.

Возвращаюсь к хронологическому порядку изложения.

Получив степень магистра, я все еще оставался в положении приват-доцента Новороссийского университета; и только через два года (1887 г.), защитив докторскую диссертацию („К истории культа огня у индусов в эпоху Вед“), я наконец мог получить штатное место; меня назначили в Казань — экстраординарным профессором. Пробыл я там всего один академический год (1887-88), после чего получил профессию в Харькове, где и протекла большая часть моей профессорской службы (1888—1905 гг.).

Устроившись в Харькове, я первым долгом стал посещать лекции Александра Афанасьевича — по „теории словесности“ и отчасти по синтаксису русского языка. За несколько месяцев перед тем, в одной из книг „Русской Мысли“ была напечатана моя статья, представлявшая собою переработку моей вступительной лекции в Казанском университете; в статье шла речь о связи языка с мышлением вообще, с художественным в частности. Это была давно уже облюбованная мною идея, восходящая, как известно, к Вильгельму Гумбольдту. В состав идеи входили у меня мысли о психологическом ритме, присущем языку и поэзии, и о „вдохновляющем“ воздействии этого ритма на психику. В Казанской вступительной лекции я старался дать сжатое

изложение этой, психологической, теории языка, „прозы“ и „поэзии“. Помнится, лекция в общем понравилась коллегам, на ней присутствовавшим, и, между прочим, профессор философии и психологии, покойный Смирнов, сказал мне: „это вы, батенька, хорошо придумали“. Повидимому, понравилась статья и Александру Афанасьевичу, по крайней мере, по идее. Он увидел, что я, не зная его исследований по теории языка и поэзии, по-своему, ошупью, как бы в тумане, подхожу к той самой постановке вопроса, которую он давно уже обосновал на фактах языка, мысли и поэзии. У меня это было смутное гадание, у него — прочное научное достижение. Воображаю, с какой улыбкой снисхождения он читал мою статью. Он мне сказал так: — „прочел вашу статью; но, знаете ли, вст уже несколько лет подряд я читаю курс по теории словесности, где идея, аналогичная вашей, проводится систематически и обосновывается на фактах языка и образного мышления“... Излишне пояснять, как был я заинтересован этим курсом. И когда я прослушал его, новый мир мне открылся... Я воспринял *научный метод* Потебни. А это было главное, без чего нельзя было приступить к самостоятельной работе в данной области.

Лекции Потебни произвели на меня глубокое впечатление — не только содержанием, но и способом изложения. Его манера изложения почти ничем не отличалась от его разговорной речи. Только лаконизм выражения нарушался необходимыми пояснениями и переходил в последовательное, но всегда сжатое развитие мысли. Он „читал“, разумеется, не „по тетрадке“. Да и обычное представление, связываемое с выражением „читать лекцию“, к его лекторской манере не подходило. Он не „читал“ лекцию даже в смысле свободного устного изложения, без „тетрадки“: он *мыслил вслух*, весь углубленный в творчество своей мысли, а слушатели не „учились“, а присутствовали при этом творчестве, приобщаясь к нему, кто как мог и умел. Впрочем, тетрадка у него была, но она содержала в себе не лекцию и даже не конспект ее, а только — фактический материал, выписки из текстов, примеры.

Лекция была *свободной импровизацией на данную тему, заранее научно-разработанную*. И было ясно, что для Потебни выражение „готовиться к лекции“ означало лишь *подготовку к творчеству мысли на лекции*. Это творчество было частью повторением, частью продолжением

его ученой работы. Однажды он сказал мне: — „я не читаю общих, элементарных, курсов; мои лекции, это всегда изложение моих специальных очередных исследований“ ... И действительно, Потебня на университетской кафедре был не столько „преподаватель своего предмета“, сколько ученый исследователь и мыслитель, раскрывающий слушателям весь ход своей творческой мысли со всею роскошью анализа и синтеза и нередко возвышающийся до настоящего *вдохновения*. Когда дело доходило до этих пределов, речь Потебни превращалась в захватывающую импровизацию великого художника слова. Это были так называемые „лирические места“ лекций Потебни, как, шутя, выражались очарованные слушатели. Такие „лирические места“ я помню и на лекциях и в разговоре в его кабинете или за чайным столом.

Однажды после лекции он с какою-то трогательною наивностью спросил меня: — „что же вы мне скажете по поводу лекции?“ Я только развел руками и прошептал: „что я могу?“ — Он, очевидно, хотел узнать мое мнение по существу разбиравшихся на лекции вопросов, а я мог выразить только восхищение, — и если бы я его выразил, то вышли бы банальные похвалы, ему не нужные. Мое „мнение“? Сказать разве, что никаких „мнений“ сейчас у меня нет, а есть только одно: впервые понял я, что такое настоящее — высшего порядка — творчество ученой мысли, живьем обнаруживающееся тут же, на кафедре. Но ведь нельзя же говорить ему такие вещи в глаза...

Я сказал выше, что его лекторская манера мало чем отличалась от его разговорной речи. Теперь добавлю, что нередко она просто переходила в настоящую беседу. И однажды, по этому поводу, он сказал мне: „знаете-ли, я все больше убеждаюсь, что пора нам, профессорам, почаще переходить от монолога, с поучительно поднятым указательным перстом, к простому диалогу, к живому обмену мысли со слушателями“...

Творческая работа ума не всегда возможна, — и вдохновение не всегда наготове. Выпадали дни, когда Александр Афанасьевич, в это время вообще хворавший, бывал „не в ударе“. Однажды, к моему огорчению, он отменил очередную лекцию по теории словесности и заявил слушателям: — „сегодня будем читать тексты и займемся синтаксическим разбором“. После лекции он сказал мне: — „знаете,

почему я отменил лекцию? Я сегодня не в ударе — нет вдохновения“... Я хорошо помню, что слово „вдохновение“ он произнес без оттенка иронии и не в смысле „расположения“, а как точный термин, обозначающий творческую работу мысли, сопряженную с действием ученого воображения, — ту вдохновенную работу, которую „старый профессор“ в „Скучной истории“ Чехова характеризует словами: „я знаю, о чем я буду говорить, но не знаю, что я буду говорить“.

От студентов, для которых его курс был обязателен, Александр Афанасьевич требовал одного: *понимания*. Зачиванию фактического материала он не придавал никакой цены. Однажды при мне он сказал студентам:— „я привожу довольно много примеров, — выписок из старых русских памятников: но ведь я сам всех их наизусть не помню; будет достаточно, если вы запомните два - три; но вы должны хорошо понять смысл синтаксических форм старого языка, как показателей его эволюции“. К студентам, которые понимали, он относился с сердечным расположением, и не скупился на поощрения и похвалы. При мне его аудитория состояла из понимающих, и я, между прочим, припоминаю его хвалебные отзывы о В. И. Харциеве, тогда студенте 4-го курса. Это был его последний любимый ученик, постигавший его мысль в ее тонких изгибах. И ученик воздал должное памяти учителя, положив много кропотливого труда на приведение в порядок посмертных, черновых рукописей Потебни по синтаксису и теории словесности: второй том „Записок по русской грамматике“ и „Записки по теории словесности“ могли быть изданы только благодаря знаниям и трудолюбию В. И. Харциева. Первым же по времени любимым учеником Потебни был, если не ошибаюсь, Александр Попов, умерший в самом начале своей блестяще начатой ученой деятельности, кажется, в 1880 году. В „Критическом Обзрении“ (М. М. Ковалевского) Потебня почтил память своего ученика сжатым некрологом, заключительная строка которого гласила так: „ему предстояла блестящая ученая карьера, может быть слава“... Как-то зашла речь о тогдашнем попечителе Харьковского учебного округа, военном генерале Максимовском, который был значительно лучше других попечителей. Надо заметить, что Александр Афанасьевич систематически и даже демонстративно избегал всякого общения с

предержащими властями вообще, а с попечителями в частности. Он сказал:— „генерал Максимовский был единственный попечитель, к которому мне пришлось обратиться: после смерти Попова, его семья осталась без средств, — я отправился к попечителю с просьбою выдать вдове покойного пособие из средств округа. И что же? Генерал отнесся к моему ходатайству с полным вниманием: пособие было выдано. А я, признаться, не очень-то надеялся“...

Меня интересовало, как относился Александр Афанасьевич к студентам, которые *не понимали*, а только, с большим или меньшим усердием, *заучивали*. Повидимому, он их презирал и иногда не мог удержаться от выражения этого чувства. В университете, задача которого научно воспитывать и *изошрять* умы, не должно быть места тупости, глупости, невежеству и умственной спячке. Филологический факультет не будет на высоте своего общественного служения, если станет выпускать плохих, невежественных преподавателей. Исходя из таких предпосылок, Потехня был в прежнее время (как мне говорили) очень строг на экзаменах и „резал“ беспощадно—за недомыслие, за непонимание. Мой коллега и друг, покойный Сергей Викторович Соловьев, тогда приват-доцент по кафедре иностранных литератур, однажды сказал мне:— „Александр Афанасьевич был грозой студентов, и я сам шел на его экзамен с великим страхом и трепетом“... А другой коллега рассказывал мне случай, когда Потехня ошеломил студента, изрекавшего на экзамене невообразимую чепуху, такой репликой:— „если вам случится кому-нибудь рассказать вот то, что вы сейчас излагаете, то, пожалуйста, не говорите, что так учил вас Потехня, потому что тот подумает, что Потехня дурак“. Одному молодому человеку, уже окончившему курс, пришлось, не знаю на каком основании, подвергнуться, не в урочное время, а в порядке спешности, дополнительному экзамену по моему предмету (по сравнительной грамматике индоевропейских языков). Экзамен был назначен перед заседанием факультета, когда профессора уже подходили и усаживались. Я усадил молодого человека на другом конце стола и, сев возле него, стал „экзаменовать“, предлагая элементарнейшие вопросы. Он ничего не знал и все путал. Я объяснил ему суть дела по заданным вопросам и отпустил с миром, поставив „удовлетворительно“. Возвращаясь на свое место, я встретил во-

просительно-иронический взгляд Потебни.— „Невинен?“ — бросил он мне отрывисто и саркастически. — „Невинен“ — ответил я со вздохом.

Общение с Александром Афанасьевичем, помимо его лекций, было для меня могущественным стимулом, побуждавшим работать, идти вперед и в частности задумываться над вопросами и оценками, которые казались мне не подлежащими перерешению. В то время я, между прочим, перечитывал Ренана. Когда однажды зашла речь о его знаменитых трудах по начальной истории христианства, Потебня отозвался так: — „это не наука, это — художественные исторические романы“. Сперва в этом отзыве мне почудилось резко-отрицательное отношение к Ренану, как к ученому и мыслителю. Но вскоре я убедился, что это не так. На одной из лекций Александр Афанасьевич привел одно место из „Fragments philosophiques“ Ренана, где в сжатой, точной и удивительно-красивой формуле была схвачена глубокая — этического порядка — идея, гласящая, что Космос в его непостижимой сущности налагает на человека железные цепи причинности, долга и ответственности, требуя всего и не обещая в награду ничего. На лекции речь шла именно об идее причинности и обусловленности вещей, как она проявляется в языке, в нашей обыденной мысли, в художественном творчестве, в науке, в философии, в религии. От фактов языка и наивной народной поэзии (в частности, помню, была приведена выдержка из повести о „Горе-Злосчастьи“) до закона причинности в логике и оттуда до вышеуказанной мысли Ренана была проведена непрерывная цепь различных выражений этой идеи, мастерски истолкованных, со всею тонкостью глубокого анализа, и объединенных в широком обобщении, со всею роскошью широкого синтеза, — и ярко, отчетливо, строго-чеканно выступила картина многовековых путей человеческого Разума, постигающего причинную связь явлений и останавливающегося перед тайною Первопричины, которая все обуславливает, всего требует и ничего не обещает. Видно было, что научно-философский и религиозный агностицизм Ренана сродни уму Потебни, как ученого и мыслителя. Припоминаю также сочувственный отзыв Александра Афанасьевича о Ренане, как о человеке, как о независимом характере (по поводу его „Автобиографии“). Что же касается таких его книг, как „Vie de Jésus“, „Les apôtres“,

„St. Paul“ и т. д., то, отдавая им должное, как произведениям sui generis, Потебня называл их „романами“ в том смысле, что они не отвечали тем требованиям, которые он предъявлял *научному исследованию*. Потебня был *естествоиспытателем* в филологии. Он был великий *ученый-наблюдатель*, Дарвин языкознания, мастер сравнительного метода, раскрывающего *эволюцию* изучаемых явлений. С точки зрения *такой* науки исторические труды описательного характера, где рассказчик заслоняет исследователя, казались ему *ненаучными*. В его глазах это был особый род творчества, приближающийся к художественному, имеющий свое значение и свою ценность, может быть высокую, но только *не научную*, в тесном и точном смысле этого слова.— „Не так надо *изучать* эти вещи“, — заметил он, говоря о „Vie de Jésus“ Ренана. Я не полюбопытствовал спросить:— „как же именно нужно изучать их?“ — ибо для меня стало ясно, что, по мысли Потебни, „эти вещи“ надо изучать так, как ботаники изучают эволюцию растений, зоологи — эволюцию животных, антропологи, психологи, филологи, социологи — эволюцию мира человеческого.

Превосходный ученый-наблюдатель, Потебня вместе с тем был и *мыслитель*. Его ум, от природы щедро одаренный всеми качествами углубленного философского мышления, был воспитан на изучении Канта, Вильгельма Гумбольдта, Лотце, Гербарта и др. и стоял на высоте современного философского знания. Александр Афанасьевич не переставал следить за новой ученой литературой по различным отделам философии, логики, психологии, в особенности же по вопросам общего языкознания, в сфере которых он по праву являлся одним из первых авторитетов в ученом мире.

Он не скупился на выражение своих философских симпатий и антипатий. Как то однажды я с энтузиазмом отозвался об известной книге Ф. А. Ланге „Geschichte des Materialismus“, которую я усердно изучал еще в Париже, а также и о самой личности Ф. А. Ланге, насколько мог я судить о ней по отзывам лиц его знавших. Это был человек высокого строя души, натура исключительной интеллектуальной и моральной силы. Упомянул я и о социализме Ланге (которого книжку „Die Arbeiterfrage“ я пробовал изложить вместе с некоторыми отделами „Истории материализма“, но эта работа у меня не „вышла“). Александр

Афанасьевич заинтересовался. Оказалось, что случайно он не удосужился прочитать „Историю материализма“, но о значении Ланге, как кантианца и инициатора „поворота по Канту“, имеет вполне определенное представление. Через несколько времени он сказал мне: — „А я очень благодарен вам за то, что вы обратили мое внимание на книгу Ланге. Я прочитал ее. Превосходная книга!“ Из дальнейшего выяснилось, что всё в этой книге „ему по душе“, а в частности понравилось ему указание Ланге на то, что науке не удалось и, может быть, никогда не удастся раскрыть тайну генезиса психики, — переход от нервно-мозгового процесса к элементарному ощущению и чувственному восприятию. Без сомнения, с особым сочувствием и удовлетворением должен был он читать те страницы, на которых Ланге говорит об эволюции современной мысли в направлении от категории субстанции к категории действия, процесса, — „от имени к глаголу“. Эта мысль была давнишним оригинальным достижением Потебни, которое он в своих исследованиях по синтаксису возвел — в области языка — на степень научного открытия первостепенной важности.

Философские идеи и построения, уклоняющиеся от норм рационального и прогрессивного научно-философского мышления, он подвергал уничтожающей критике, считая их рецидивами в сторону отживших форм мышления. Оттуда его резко-отрицательное отношение к философии Владимира Соловьева. Однажды, по поводу статьи последнего (кажется, в первой книге „Вопросов философии и психологии“), где идея красоты (эстетической) выводилась из идеи света (световых впечатлений), Александр Афанасьевич с некоторым полемическим жаром выразился приблизительно так: — „я берусь доказать ему с документами в руках, что он просто мифослагатель: он, не ведая того, воскрешает стародавний миф, — это резкий пример ненаучного и нефилософского, отсталого мышления“... — Столь же отрицательно отозвался он и о новой, только что вышедшей тогда книге Макса Мюллера „Das Denken im Lichte der Sprache“ („Мышление в свете языка“). Теории Макса Мюллера он издавна подвергал весьма суровой критике. Мне, при моей тогдашней философской неподготовленности, эта книга, как всегда блестяще написанная, отчасти понравилась, что я и высказал. В ответ я выслушал такой

отзыв: „Помилуйте, да ведь он до сих пор не может уразуметь основного вывода современной психологической науки,— что генезис мысли начинается не общими идеями, или категориями, а конкретными чувственными восприятиями, и ее развитие (в филогенезе и в онтогенезе) идет от ощущений к понятиям, а не наоборот; и по-прежнему, как лет тридцать тому назад, он утверждает, что корни языка первоначально выражали общие понятия, или обобщенные представления, и—вдобавок—были глагольными. Отсталая, давно опровергнутая теория!“...

Я мог прослушать только курс, читанный Александром Афанасьевичем в 1888-89 академическом году.

В следующем году его здоровье, давно непрочное, совсем расстроилось. Он поехал с женой (которая ухаживала за ним, как могут это делать только мать, жена, нянька и сиделка, вместе взятые) за границу, откуда вернулся без видимой поправки. Ему уже трудно было читать лекции в университете,— он открыл курс на дому. Его физические силы заметно угасали—при полном блеске духовных...

В декабре 1891 года несколько профессоров объявили ряд публичных лекций в пользу голодающих (это был памятный голодный год в центральных и северных губерниях Великороссии). Я принял участие в этом деле и приготовил лекцию о Л. Н. Толстом.

Шел я на лекцию с чувством тревожной неуверенности,— как сойдет она, справлюсь ли я с темой. Пока публика рассаживалась по местам, я вышел в вестибюль покурить. Мое волнение росло; я чувствовал, что все более робею. Наконец, накурившись, вернулся я в зал и направился к кафедре. Но в проходе остановил меня Андрей Яковлевич Ефимович (редактор неофициальной части „Харьковских Губернских Ведомостей“, где я сотрудничал) и с глубоко-удрученным выражением лица сообщил следующее: „только что принесли сюда печальное известие: скончался А. А. Потехня“...

Всю мою робость как рукой сняло. Твердой поступью направился я к кафедре, весь во власти чувства, которое можно описать так: „теперь все равно! справлюсь-ли я с темой, или не справлюсь, провалюсь, или нет,— всё это пустяки, о которых и думать не стоит“... И я провел всю лекцию в каком-то суровом тоне,— сумрачно и резко, почти

„сердито“ и — чувствовалось мне — с полным равнодушием к ее успеху или неуспеху...

На другой день я увидел его в гробу. После панихиды — последнее прости. Прекрасно было его лицо, овеянное покоем вечного сна. Я был как в тумане, удивляясь, что не плачу. Но тут же, подойдя к его вдове и целуя ей руку, я разразился судорожным рыданием... Вскоре в „Харьковских Губернских Ведомостях“ появилась статья, посвященная его памяти. В статье шла речь о нем преимущественно как о профессоре. В ней ярко-талантливо и задушевно был воспроизведен облик почившего. А подпись была такая: „А. Горнфельд“. Тогда я вспомнил, что на лекциях Потебни я видел студента-калеку. На мой вопрос о нем, мне объяснили, что это студент-юрист Горнфельд, еврей из Крыма, подающий большие надежды, с выдающимся умом и блестящими дарованиями. Он окончил курс за год до смерти Потебни и уехал в Берлин — слушать старика Штейнталя, следовательно продолжать свои занятия вопросами теории языка и искусства. Оттуда он и прислал статью о Потебне. Это был первый литературный венок на могилу почившего.

С 1892 года я „весь ушел“ в занятия сравнительным и историческим синтаксисом — по методу и в духе идей Потебни. И попутно его образ, воскресая в моей памяти, вырисовывался все с большею определенностью. Я припоминал его мысли, отдельные замечания, мнения, случайно выраженные по тому или другому поводу, даже его недомолвки и характерный жест головой и рукой...

Из таких штрихов сложилось у меня определенное представление о том, *какого рода или типа была душевная реакция* Потебни на впечатления действительности, на общественную среду, на текущую изо дня в день жизнь, на жизнь, текущую десятилетиями и веками, на исторический ход вещей, наконец — на Россию, как отечество, и на Украину, как родину.

Начну с этого последнего пункта. А. А. Потебня был коренной и, можно сказать, типичный малоросс, из мелкопоместных дворян Полтавской губернии. Он владел украинским языком в совершенстве, не только теоретически (это уж само собой), но и практически. Он знал и любил Малороссию, и характерные черты украинской национальной психики были выражены в нем определенно и ярко. И,

разумеется, вопросы национально-культурного развития Украины были для него не только предметом теоретического интереса, но и живой и жгучей проблемой жизни. Понятно, с какою горечью и с каким негодованием реагировал он на „обрусительную“ политику тогдашнего реакционного правительства в украинском вопросе. Но, при всем том, он не был „украинофилом“ в обычном в те времена смысле этого слова: ему совершенно были чужды все те пристрастия и предпочтения, которые внушаются „местным патриотизмом“, исключительной и обидчивою приверженностью к „своему“, „родному“. Его национализм был рациональным национализмом мыслителя, уравновешенным, спокойным и критическим. Помимо этого, он живо ощущал в себе рядом с украинской и другую национальность — *общерусскую*. Обиходным языком в его доме был общерусский, а не украинский. Языком его мысли и его научного творчества был конечно все тот же общерусский язык, орган великой русской литературы, которую он высоко ценил и знал в совершенстве. Он был знатоком и глубоким почитателем Пушкина, которого, как я мог заметить, он ставил выше Гоголя; он чрезвычайно ценил художественный гений Толстого, которому, как я знаю наверное, он отдавал предпочтение перед Тургеневым. Бывало, приводя на лекциях примеры из Пушкина, он говорил: — „прислушайтесь, уловите выражения и оттенки: тут что ни слово — то документ“. Об известном интересе Пушкина к своим предкам, к родословной он высказывался с одобрением и сочувствием, утверждая, что у великого поэта это вовсе не было проявлением аристократических предрассудков и барской спеси, которые были чужды ему, а это было только вполне закономерным симптомом того самосознания и самоуважения, какие свойственны мыслящему культурному человеку. Высота культуры определяется не только расходом мыла и прочими признаками опрятности, но и многим другим, в том числе и интересом к прошлому, уважением к предкам. О Тургеневе, художественную силу которого он конечно высоко ценил, он однажды сказал мне так: — „Тургенев белоручка, у него нет этой драгоценной способности, которая есть у Толстого, — засучить рукава и приняться за черную работу“. Он любил общерусскую литературу в ее целом, ценя не только ее великих представителей, но и ее второстепенных

и третьестепенных деятелей, если только находил у них серьезную работу „своей головой“ и бережное отношение к фактам жизни, к действительности. Оттуда, между прочим, его расположение к Далю, не только как к составителю областного словаря, но и как к беллетристу.

Приверженность к общерусской литературе в ее целом была у него частным выражением общей его приверженности к России, как к политическому и культурному целому. Знаток всего славянства, он не стал, однако, ни славянофилом, ни панславистом, не взирая на все сочувствие развитию славянских народностей. Но зато он несомненно был — и по убеждению, и по чувству — „панрусистом“, т. е. признавал объединение *русских* народностей (великорусской, малорусской и белорусской) не только как исторический факт, но и как нечто должествующее быть, нечто прогрессивно-закономерное, как великую политическую и культурную идею. Я лично этого термина — „панрусизм“ — не слышал из его уст, но достоверный свидетель, профессор Михаил Георгиевич Халанский, его ученик, говорил мне, что Александр Афанасьевич так именно и выражался, причисляя себя к убежденным сторонникам всероссийского единства.

Но и Россия, как целое, и Украина, как ее часть, равно как и другие части, вызывали в нем последовательно-критическое отношение и нередко являлись для него предметом скорбного раздумья и негодующих суждений. Он не был чужд пессимистических настроений. Но я не помню случая, когда он проявил бы сомнение в лучшем будущем России как целого. Любопытно отметить, что ему было совершенно чуждо свойственное некоторым украинским националистам пристрастно-отрицательное отношение к нашему историческому прошлому, в частности к „московскому“ периоду русской истории, даже в том умеренном виде, в каком оно проявлялось, например, у Костомарова. Не заметно было у него и тени какой-либо национальной антипатии к „кацапам“, к сожалению далеко не чуждой многим украинским деятелям. К великорусской народности он относился с уважением и, как мне показалось, склонен был даже отдавать ей некоторое предпочтение перед украинской, которую любил, как украинец, но вместе с тем, по крайней мере в последние годы своей жизни, подвергал слишком суровой критике. Повидимому, он все

более разочаровывался в национальной дееспособности своих земляков и все успехи украинской культуры и литературы, какие были налицо, считал недостаточными. Припоминаю один разговор, оставивший во мне сильное впечатление, граничащее с изумлением. Речь зашла о возможных перспективах развития украинской национальности — языка, литературы, культуры. Александр Афанасьевич с некоторою резкостью заметил, что украинское образованное общество упустило благоприятный момент и что теперь, быть может, уже поздно: национальность пошла на убыль, захирела. „Момент“, который он имел в виду, это была, сколько я понял, эпоха с конца XVIII века до половины XIX, когда поместное дворянство и городское общество на Украине не утрачивали знания и живого чутья малорусской речи, а правительство еще не пришло к дикой затее запрета литературы и самого языка: можно было невозбранно писать и печатать по-украински, — можно было создать и национальную школу. Если бы тогда малорусское общество проявило хоть небольшую долю той национальной инициативы и энергии, какую обнаружили, например, чехи и сербы, то украинская национальность к 80-м годам упрочилась бы настолько, что никакие запреты уже не могли бы остановить ее дальнейшего развития. Но украинское общество оказалось не на высоте национальной задачи, — и вот теперь дело дошло до того, что само дальнейшее существование украинской национальности ставится под знаком вопроса... Так понял я мысль Александра Афанасьевича и — пробовал возражать. Я указал на то, что, как ни как, народность пока все-таки существует, язык в народных массах не вымер, литература, несмотря на все запреты, так или иначе развивается... Упомянул я и о Галиции и, кажется, о Драгоманове... И, наконец, напомнил о Шевченке: народность, выдвинувшая великого поэта, не может так уж скоро захиреть; Шевченко, сам по себе, уже доказательство жизнеспособности украинской национальности... В ответ на все эти аргументы услышал я следующую реплику, произнесенную тоном, в котором слышались и ноты национальной скорби и горечь сарказма: „Шевченко! Жизненность нации! *Этнографический материал, а не нация!*“

Напомню читателю, какое великое значение придавал Потебня национальным укладам, национально-культурному

творчеству разных народов. Он полагал, что утрата тою или другою, даже самую маленькою, народностью своего национального облика и своего языка есть ущерб для всего человечества, которое слагается из разнообразия национальных обликов и без них превратилось бы в абстракцию — без плоти и крови, без души, без жизни. Всякое насилие над национальностью он считал преступлением, а денационализацию — великим бедствием, неразлучным с умственным и моральным упадком. Украинская же национальность, оказывается, сама собой, помимо всяких насильий со стороны, добровольно пришла к самоотречению, не обнаружив и малой доли той энергии и стойкости, какие противопоставили, например, чехи и словаки всемогущему натиску онемечения. И нация превратилась в „этнографический материал“, которым только наука спешит воспользоваться, пока он еще не исчез.

Я остался однако при своем мнении... И вот сейчас, когда я пишу эти строки (апрель 1919 г.), после всех прегрешений „мазепинства“ и всех плачевных и смехотворных опытов „самостийного“ политиканства, продолжаю думать, что украинская народность сохранила задатки национального развития. Эти задатки выживут. Запреты отпали; политиканство отпадет; „этнографический материал“ силою натурального роста, при свете свободы и просвещения даст культурные ростки и преобразится в жизнеспособную национальность. Ее жизнеспособность — в моих глазах — засвидетельствована ее одухотворенностью вообще и — в частности — не только фактом появления такого национального поэта, как Шевченко, но и возможностью такого чрезвычайного явления, как сам А. А. Потебня, возникшего из глубины Полтавщины, на почве все того-же „этнографического материала“...

Перехожу к другим проявлениям психической реакции Потебни — на вопросы, выдвигавшиеся тогдашней российской действительностью.

Не трудно было при более близком знакомстве распознать в нем натуру „иррелигиозную“ — как раз в том смысле, в каком взят этот термин у Гюйо в великолепной книге „L'irréligion de l'avenir“ („Безрелигиозность будущего“). Это не отрицание и не упразднение религии: это только освобождение религиозного чувства и сознания как от внешней принудительности, так и от власти повышенной

психологической религиозности. В противоположность, например, Лаврову, Потебня не был натурой *психологически-религиозной*. Догматизм мышления, столь сродни религиозному в традиционных формах этого последнего, был ему совершенно чужд и даже антипатичен. Но, без всякого сомнения, он не был ни атеистом, ни „материалистом“. По всему было ясно, что в вопросах веры, как и в проблемах метафизических, он склонялся на сторону последовательной *агностики*. Вместе с тем, чрезвычайно определенно и с безоглядной откровенностью высказывал он свое органическое отвращение к насилию и гнету в области религиозных — и антирелигиозных — убеждений. Всякому должно быть предоставлено право веровать или не веровать... Навязывание человеку религиозных или каких бы то ни было мнений недопустимо, — ни государство, ни общество, ни сама церковь не имеют права вторгаться в интимный мир личности. Оттуда у Потебни — резкое, даже как бы демонстративное отрицание обязательности исполнения обрядов религии. Однажды, не без задней мысли („что и в каком тоне скажет он по данному вопросу?“) я сказал ему: — „Вот здесь, у вас, в Харькове, как я слышал, архиерей очень строго блюдет за исполнением обрядов; неужели и для нас, профессоров, ежегодное говение обязательно, как для гимназистов? Я вот уже лет пять не говел“... — „А я не говел 25 лет“ — был лаконический ответ Александра Афанасьевича. Тех, которые, будучи заведомо неверующими, ходили в церковь и вообще исполняли обряды религии — на показ, страха и карьеры ради, он презирал открыто и бесповоротно. Лицемерия он не выносил, как не выносил всякого угодничества, заискивания и подслуживания. С коллегой, прегрешившим в этом направлении, он моментально прекращал знакомство, не кланялся ему и руки не подавал.

В те годы (80—90-ые) харьковский архиепископ Амвросий, ставленник Победоносцева, систематически проводил „клерикальную политику“ и даже вторгался в жизнь университета, заглядывая кстати и в личную жизнь профессоров. Он, к сожалению, нашел в этой среде адептов и угодников. Потебня не мог молчать и выступал против этого вторжения „темной“ силы при всяком удобном и неудобном случае, — в факультете, в совете, в обществе, наконец в своих официальных и частных отношениях к разным

лицам, так или иначе затронутым этими, углублявшимися связями университета с архиереем. Последний, наконец, не выдержал и разразился в одном из произнесенных им в соборе „слов“ грозной филиппикой по адресу Александра Афанасьевича. Не называя его по имени, он прозрачно намекал на него, обвиняя в „безбожии“ и свободомыслии. Присутствовавшие в храме сейчас же догадались, о ком идет речь.

„Антиклерикализм“ Потебни проходит резкою нитью по всей его жизни и деятельности. Он склонен был даже преувеличивать отрицательные стороны религиозного мирозерцания и церковности. Господством этого мирозерцания в старину на Руси он объяснял сравнительную скудость умственного творчества в прошлом и, в частности, почти полное отсутствие художественных произведений в старой литературе. „Слово о полку Игореве“ — счастливое исключение. Свободному творчеству нет места в среде, где мысль связана обязательными верованиями, скована догматами и запугана религиозными страхами. Человеческое творчество, художественное, научное, философское, да и религиозное, расцветает только на почве *внутренней свободы духа*, которая даже важнее внешней, являющейся для нее частью благоприятным условием развития, частью ее естественным последствием. Внутреннее рабство мысли, ее вольное или невольное закрепощение какой-либо идеей, принимаемой за якобы „непререкаемую истину“, Потебня считал явлением в высокой степени отрицательным и пагубным, источником всякого изуверства и мракобесия. Но не только религиозные идеи, а и всякие другие, политические, моральные, философские, даже научные, нередко проявляют такую же порабащающую силу. Оттуда у Потебни — решительный протест против *всякого* фанатизма и идолопоклонства, в какой бы сфере человеческой мысли и деятельности они ни обнаруживались. И в частности отсюда же у него резкое отрицание *догматических* приемов мышления в науке. Когда тот или иной поборник науки выступал на ее защиту, не замечая, что одному кумиру он противопоставляет другой, Потебня к таким выступлениям относился отрицательно и саркастически. — „Некоторые из молодых ученых“, говорил он, „считают долгом заступаться за науку, точно она им невеста, жена, или теща“... — „Защищайте не науку, а свободу — и сами будьте внутренне-

свободны". Ревностный не по разуму адепт науки, творящий из нее кумир, переносит в нее чуждое ей понятие „единоспасительной истины“, впадает в догматизм и таким образом подрывает самые основы научного мышления...

Когда в 1893 году я, приступая к изучению творчества Тургенева, взял отправным пунктом его мысль о великой ценности *внутренней свободы*, я прежде всего вспомнил А. А. Потебню.

И я думал: вот, на ряду с такими, как Тургенев, как Пушкин, как Пирогов, — натура, от рождения призванная к полноте внутренней свободы духа, в противоположность таким, как, например, Л. Н. Толстой. И чтобы найти путь к тайникам творчества художника, ученого, мыслителя, надо исходить из критерия „внутренней свободы“ и определить, к какому именно психологическому типу принадлежит данный деятель мысли — „внутренне-свободному“ или „внутренне-несвободному“ и к какой разновидности того и другого. Могут быть также различные *ступени* внутренней свободы духа. Ее высшую ступень, ее торжество я усматривал в Потебне.

Оттуда у него в его общем мирозерцании и в его ученой работе та черта, которую отметил (в одной из своих статей) академик И. В. Ягич, именно „*спокойствие научной мысли* (wissenschaftliche Ruhe)“, отраженное и в его *стиле*.

Я неоднократно упоминал выше о *лаконизме* разговорной речи Потебни. В его ученых трудах этот лаконизм выразился не только как натуральная черта его языка, но и как сознательно-обдуманная и последовательно *проводимая манера изложения*: его слог *стилизован в духе лаконизма*. Оттуда чрезмерная сжатость фразы и отсутствие всяких отступлений, пространных пояснений, амплификаций. Многословия он органически не выносил. Припоминаю его ядовитое замечание в одной из статей 70-х годов. Дело шло об известном, очень хорошем по тому времени труде покойного Житецкого по фонетике украинского языка. Воздав должное автору, отметив достоинства и недостатки исследования, Потебня не мог удержаться от упрека в излишней популярности изложения, в многословии: „если бы Миклошич был так словоохотлив, как г. Житецкий, то ему пришлось бы написать не четыре тома „Сравнительной грамматики славянских языков“, а только сорок. Ныне и у нас время дорого“... Надо сказать

правду, для недостаточно подготовленных сжатость стиля Потебни является весьма огорчительным камнем преткновения. Книги Потебни нельзя „просто“ читать, или „почитывать“: их приходится „разучивать“, „штудировать“, — и это дело не из легких. Но когда читатель преодолет первые трудности, проникнет в ход ученой мысли Потебни, освоится с его манерой, тогда он будет вознагражден сторицею. В чеканной отчетливости сжатого стиля ему откроется вся сила и все изящество мысли великого ученого.

Идеи Потебни можно и должно популяризировать (я сам пробовал это делать), но самая удачная популяризация останется лишь бледною копией оригинала. Потебню нужно изучать, как изучают классиков. Тогда вопрос „что“ (выводы, идеи, обобщения, открытия) переходит в вопрос „как“ (особенности метода, тонкость анализа, сила индукции, широта синтеза, глубина мысли): читатель не только воспринимает результаты, итоги, но и приобщается к самому процессу мышления, к творчеству гениального ума.

В стиле и — шире — в литературной манере Потебни чувствуется *сдержанность* или *самообладание* ученого, и сквозит глубокая *правдивость* мыслителя. Чувствуется и другое: *уважение к читателю*. Эта последняя черта уяснилась мне, когда, изучая Потебню, я однажды вспомнил следующее. Речь зашла о Н. К. Михайловском, которого неизменным почитателем я был и остаюсь. Не касаясь идей Михайловского по существу, Александр Афанасьевич отнесся отрицательно к его литературной манере. Хорошо помню ту резкость и живость, с какими он воскликнул: — „Помилуйте! *этакое презрение к читателю!*...“ Вникая в стиль и литературную манеру Потебни, я вспомнил это меткое, хотя и несколько преувеличенное, суждение и подумал: да, у Потебни живо чувствуется черта противоположная: уважение к читателю, — автор обращается к нему с своею речью, как равный к равному.

„Уважение к читателю“ было у него частным выражением общей черты — *уважения к человечеству* в его целом, в его прошлом, настоящем и будущем, — в его эволюции, в его прогрессе.

Специальные исследования Потебни в области теории языка, сравнительного и исторического синтаксиса, мифологии, „теории словесности“ были в существе дела изучением многовековой эволюции человеческого мышления и

созерцанием закономерного хода вещей в сфере человеческого творчества. Он исходил из великой эволюционной предпосылки, гласящей, что „все движется“, „все течет“; он говорил — „весь интерес истории в том, что она не тавтология, что она не повторяется“... Его излюбленная формула выражалась в вопросе: „откуда и куда мы идем в области языка, мысли, творчества?“ Его исследования дали положительный, научно-обоснованный ответ на этот вопрос: мы идем от имени к глаголу, от категории субстанции к категории процесса, от мифа к науке, от догматических приемов мысли к критическим, от темноты к свету...

Это „мы“ обнимало идею всего человечества, от времен незапамятных до неисповедимого грядущего. С спокойствием ученого-мыслителя созерцал он бесконечную эволюцию человеческого разума. И это спокойствие созерцаний так причудливо и так гармонически сочеталось в нем с вечным беспокойством его моральной личности, болезненно-чутко откликавшейся тревогою совести на все — крупные и мелкие — уродства жизни, на все уклоны от норм нравственной правды и человеческого достоинства. И вместе с тою простотою и той непосредственностью душевного проявления в словах, в обхождении, в повседневной жизни, какие присущи или приличествуют гению, его духовный облик выступал на фоне жизни так натурально, так наивно, что высокий строй его души и сама его гениальность казались явлением хотя и „чрезвычайным“, но вместе с тем как бы закономерным, в порядке вещей, ясным, удобопонятным, где нет ничего „мудреного“, загадочного, чуждого... И в его обществе нам было так легко и — так отрадно...



ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Предисловие И. Овсяннико-Куликовской</i>	5
<hr/>	
I. Личное (Опыт психоанализа)	7
1. Интерес к аномальному	7
2. Интерес к преступному	10
3. Первый „комплекс“	15
4. Промежуток 1870—1872 гг. Возвращение к работе в 1873 г.	18
5. Наука и жизнь (1874—1893 гг.)	22
6. Свое место, свои слова.	39
7. Культ науки и гуманности	45
II. „Я“ и „Мое“. — Детство, отрочество, юность (1853—1871 гг.)	53
III. Годы студенчества (1871—1876 гг.)	75
IV. В Петербурге, за границей и в Одессе (1876 — 1887 гг.)	105
1. В Петербурге	105
2. За границей	112
3. В Одессе	125
V. Памяти почивших	134
1. Михаил Петрович Драгоманов	134

2. Николай Иванович Зибер	144
3. Петр Лаврович Лавров	149
4. Максим Максимович Ковалевский	160
5. Александр Афанасьевич Потебня	166
